|  |
| --- |
| Ирма Кудрова  Путь комет  Разоблаченная морока  *Выпита как с блюдца, —*  *Донышко блестит.*  *Можно ли вернуться*  *В дом, который — срыт?*  *«Страна», 1931*  *Глава 1*  Болшево  1  От Гавра пароход «Мария Ульянова» отошел в семь пятнадцать утра.  Предстояла качка в Северном море, и потому Цветаева сразу приняла заранее приготовленное лекарство и легла в каюте. Перед самым отъездом она наткнулась в магазине на книжку, которую уже давно искала — Сент-Экзюпери, «Земля людей», и теперь, лежа на койке, читала ее.  Мерный стук пароходного двигателя был похож на стук сердца.  Мур весь первый день стойко не поддавался качке и все время проводил на палубе и в музыкальном салоне. На пароходе, кроме них, оказался еще только один пожилой русский — остальные были совсем юные испанцы. Еще до посадки на пароход, на берегу, они затеяли игры, веселились, пели, и это продолжалось во все время пути. Каждый вечер устраивались танцы. Одеты они были почему-то во все зеленое.  Возбужденный и радостный Мур прибегал к матери на минутку, стоял на одной ноге, говорил две-три фразы и бежал обратно.  Миновали Северное море, качка прекратилась. Теперь Марина выходила смотреть на проплывающие мимо берега.  Ее поразила Дания; просто «схватила за сердце» — так она записала в свой дневничок, вернувшись в каюту. Пароход обогнул какой-то то ли замок, то ли крепость, то ли храм — крыша была зеленой от древности. Сказочным казался и лес — что-то мягкое и серое, как дым, из дыма торчали островерхие крыши. «Дремучая Дания», — записала Марина. Она переходила с борта на борт и мысленно посылала приветы то Андерсену, то Сельме Лагерлёф — когда проплывали Швецию. Швеция была другой, чем Дания: красные крыши домов, все игрушечное и новенькое. Появились красивые парусники с выцветшими зелеными и красными парусами.  В течение двух дней в одно и то же время — от пяти до шести — над водой почему-то отчетливо слышен был колокольный звон.  Закаты потрясали своей красотой. Пена была малиновая, небо золотистое — и на нем письмена. Марина силилась их разобрать — уверенная, что они именно ей адресованы. Но не разобрала. Море глотало опускавшееся за горизонт солнце.  Разоблаченная морока - i_001.jpg  *Автограф дневниковой записи Марины Цветаевой*  — Мур, посмотри, какая красота! — говорила она сыну.  — Красиво, — подтверждал Мур, появляясь снова около матери, и тут же убегал обратно.  Балтийское море принесло холод. Оно было уже серо-синее и напомнило воды Оки осенью, те — из детства. Проплыли остров Готланд. В записях, которые ведет Марина, — настороженность и печаль. Будет ли встречать Сережа? — задается она вопросом, когда впереди уже виден Кронштадт.  Наконец пароход пришвартовывается к пассажирскому причалу. Прибыли! Начинается изнурительно долгий досмотр багажа пассажиров.  Перетрясли до дна все цветаевские чемоданы и сумки. Таможенникам очень понравились рисунки Мура; они отбирали их себе, не спрашивая согласия. «Хорошо, что им не нравятся рукописи!» — записала позже Цветаева. Вещи обратно не влезали, между тем как нужно было торопиться на поезд. Выяснилось, что в Москву они поедут в эту же ночь — и вместе с испанцами.  Наконец досмотр окончен, пассажиры сходят на берег, их всех перевозят на автобусах в какой-то специальный поезд; он отъезжает четыре километра от города и останавливается — до 11 часов вечера.  Вместе с испанцами Мур уезжает в автобусе — осматривать город, Цветаева остается стеречь вещи.  Сергей Яковлевич их, разумеется, не встретил.  На следующее утро они уже подъезжали к московскому перрону.  Кого надеялась она увидеть здесь, пытаясь еще во Франции опередить торопящимся воображением этот день?  Мужа, дочь, сестру? Может быть, еще и Пастернака? Не могли же не известить его о таком событии!  Но на перроне их встречала только Ариадна — в сопровождении мужчины среднего роста, чуть полноватого и, как скоро выяснилось, глуховатого, с обаятельной белозубой улыбкой. Он был представлен как Самуил Гуревич, друг и коллега Ариадны. Сергей Яковлевич ждал их в Болшеве, туда надо было еще ехать электричкой.  На Ярославский вокзал, откуда шли электрички в Болшево, можно пройти «задами», даже не выходя на широкую привокзальную площадь. Но неужели так и не вышли? Не взглянули хоть мельком на кусочек некогда столь любимого Цветаевой и воспетого ею города? После стольких-то лет разлуки, стольких испытаний!  Наверное, все-таки вышли. Спустя год Мур зафиксирует в своем дневнике мельком всплывшую в его памяти сцену: он видит себя стоящим в начале улицы Горького с мороженым в руке — и впервые в жизни смотрит на Кремль. Брандмауэры многих домов украшались в те годы огромными плакатами. Плакаты тиражировали идеал социалистического общества, в котором труд был провозглашен делом чести, доблести и геройства: здоровяк в рабочем комбинезоне и его крепкогрудая подруга в красной косынке и с пучком спелых колосьев в руке призывали сограждан незамедлительно нести деньги в сберкассу — или вступать в ряды Осоавиахима.  После семнадцати лет разлуки с родиной Марина Ивановна попала в сюрреалистический мир, где в узнаваемых декорациях текла фантастическая жизнь. В ее обыденном порядке были митинги и празднества в честь покорителей пространства: летчиков, полярников, парашютистов. Празднества сменялись обличениями и проклятиями в адрес других соотечественников, внезапно оказавшихся предателями всех святынь, бандитами, потерявшими остатки совести.  Этот мир знал только две краски — черную и белую. Точнее, черную и красную, ибо всенародные празднества одевались в знамена и транспаранты цвета пролетарской революции. Этот мир состоял из героев и злодеев — третьего не существовало. Дух истерии витал в неумеренных восторгах — как и в осатанелых проклятиях. Страсть одинакового накала, не признающая полутонов, кипела в тех и в других. Знала ли Цветаева обо всем этом, возвращаясь?  Она многое знала. Ибо при всей ее ненависти к газетам она, конечно, читала их, не могла не читать. Ими были завалены все подоконники, когда муж, Сергей Яковлевич, был еще в Париже. После его стремительного побега из Франции страстным «глотателем газетных тонн» стал подросший сын.  Она знала, но кому не известно, с какой неотвратимостью разверзается бездна между слышанным, прочитанным — и увиденным собственными глазами. И, кроме того, вряд ли знала Марина Ивановна, что теперь она окажется узницей Болшева на целых пять месяцев. С короткими и не очень легальными выездами в столицу.  Электричка сейчас идет до Болшева около часа.  Тогда она шла много медленнее. А значит, было достаточно времени, чтобы поговорить матери с дочерью и брату с сестрой. Выяснить самые главные обстоятельства. Задать безотлагательные вопросы. Переписка их была регулярной, но шла через официальные каналы, а потому ни одна из сторон не обольщалась относительно полноты получаемой информации.  Разоблаченная морока - i_002.jpg  *Ариадна Эфрон в Болшеве*  Да, Сережа по-прежнему нездоров, хотя режим не постельный. Он ходит и, может быть, даже встретит их на болшевском перроне.  А Ася? Где она? Почему ее нет с нами?  Ася арестована. Еще в тридцать седьмом, в начале осени, в Тарусе. За полтора месяца до приезда Сергея Яковлевича.  Но почему, за что?  Этого никто не знает. |

1

|  |
| --- |
| Как это — не знает? Как можно не знать? А Андрюша, сын?  Он арестован тоже и там же. Он гостил у матери, когда за ней пришли.  И Сережа не узнал, в чем дело?  Пытался, но не смог. Он надеялся помочь и Дмитрию Петровичу Святополк-Мирскому, уверен был, что сумеет его освободить. Но ничего не получилось…  (Давний друг Цветаевой и Эфрона князь Дмитрий Петрович Святополк-Мирский вернулся в Россию еще в тридцать третьем. В тридцать седьмом его арестовали. Цветаева могла знать об этом от общей их приятельницы Веры Трейл, вернувшейся из Москвы в Париж осенью тридцать седьмого.)  А Сережины сестры — Лиля и Вера?  Они в Москве. Но муж Веры тоже арестован. Год назад. Аля и Сережа еще застали его на свободе…  Легко себе представить, как приходилось Але пересиливать себя, обсуждая все эти темы. Между тем она могла бы еще многое добавить. Ведь мать знала и супругов Шухаевых, и Юза Гордона, и Наталью Столярову, и Николая Романченко из парижского «Союза возвращения на родину». Все они тоже исчезли в тюрьмах.  Разоблаченная морока - i_003.jpg  *А. С. Эфрон и И. Д. Гордон*  *Москва. 1938 г*.  Но сообщать о таком в самые первые часы встречи… Если бы не отсутствие Аси на вокзале, можно было бы оттянуть на потом все эти грустные новости.  Впрочем, в пригородном поезде говорить на такие темы было вообще неудобно. Но как же было и не спросить? Аля увиливала как могла. Хотя и потом она говорила о таком крайне неохотно.  Она была так счастлива в это лето! Она любила и была любима, и все неприятное не желало задерживаться в ее сознании. Радостная приподнятость окружала ее как облаком, и это облако двигалось и существовало вместе с ней, где бы она ни находилась.  Знала ли мать из писем, что Аля встретила наконец человека, которого она называла мужем — и суженым? Так Аля называла Гуревича и много лет спустя, уже вернувшись из лагерей и долгой мучительной ссылки… «Муж, которого Бог дает только однажды…» — говорила она о своем Мульке.  Они давно уже встречались ежедневно, работая в «Жургазе», созданном Михаилом Кольцовым. Она — в редакции еженедельника «Ревю де Моску», выходившего на французском языке, он — в журнале «За рубежом». Гуревич часто сопровождал Алю в ее поездках в Болшево, и тогда они вместе несли с вокзала тяжелую сумку с продуктами, снабжая Сергея Яковлевича на всю неделю. Совместная судьба их считалась решенной, хотя Гуревич был женат и с женой еще не развелся.  В биографии человека, которого полюбила дочь Цветаевой, — немало туманного. Но вряд ли когда-нибудь этот туман до конца рассеется. Нет никаких сомнений в том, что Самуил Давыдович сотрудничал в НКВД — иначе он просто не мог бы, по правилам того времени, занять высокий пост ни в «Жургазе», ни в редакции журнала, тем более связанного по своему профилю с делами заграничными. Позже он работал в ТАСС, был в тесном контакте с иностранными корреспондентами агентств «Рейтер» и «Ассошиэйтед-пресс». А это означало уже не просто «допуск», но и солидный энкавэдэшный чин.  Разоблаченная морока - i_004.jpg  *Самуил Давыдович Гуревич*  Человек незаурядных способностей, Гуревич был на восемь лет старше Ариадны Эфрон. Как и она, он вырос за пределами России. Детство его прошло в Америке, куда задолго до Октября эмигрировал его отец — профессиональный революционер. Пятнадцати лет мальчика привезли в Россию. Прекрасное знание английского языка многое определило в его будущей судьбе. Говорят, он учился в школе вместе с сыном Троцкого. И совсем достоверно — он был очень близок к Кольцову. Но как ни странно, после ареста шефа положение его секретаря не пошатнулось. А ведь ко времени знакомства с Ариадной он был исключен из партии за «троцкистский уклон»! И все же свою должность он сохранил и позже, когда была арестована Ариадна и прочие обитатели болшевского дома.  Что уже наводило на раздумья тех, кто все эти обстоятельства знал и наивно верил в умопостигаемую логику действий советской карательной системы.  Самуил Давыдович казался непотопляемым.  Однако умереть в собственной постели ему все же не было суждено. В 1952 году его арестовали вместе с другими членами Еврейского антифашистского комитета — и расстреляли как «врага народа».  2  Сергей Яковлевич был нездоров. К прежним хворобам, сопровождавшим его с юных лет, то усиливавшимся, то отпускавшим, присоединилась на российской земле новая: стенокардия. Первые приступы грудной жабы, как тогда еще называли эту болезнь, были настолько сильны, что Эфрона положили в Екатерининскую больницу, и он застрял там надолго. Это случилось в конце марта тридцать восьмого года, всего через пять месяцев после возвращения на родину.  Разоблаченная морока - i_005.jpg  Разоблаченная морока - i_006.jpg  *Сергей Эфрон в санаториях НКВД. 1938–1939 гг.*  А затем сменяли друг друга санатории — в Аркадии, под Одессой, на берегу Черного моря, и в Минеральных Водах. Елизавете Яковлевне, сестре, он признался в одном из писем, что за всю жизнь не видел около своей особы такого количества врачей, как в этих санаториях. Понимал ли он, что санатории, в которые он попадал, были совсем другого разряда, чем все прочие? Ибо его пестовали в самых привилегированных, энкавэдэшных… Не была ли его грудная жаба всего лишь нормальной реакцией организма на сильнейший стресс? Причин для этого было предостаточно. «Акция», спланированная в недрах Иностранного отдела (ИНО) НКВД и завершившаяся в сентябре 1937 года убийством в Швейцарии «невозвращенца» Игнатия Рейсса, считалась в высоком Учреждении «проваленной». Убийцы оставили слишком заметные следы, и швейцарская полиция, объединившись с французской, сумела быстро поймать троих участников операции. Правда, то были участники, так сказать, «периферийные» — непосредственные убийцы успели ускользнуть, — но все же в руках полиции обнаружился конец нити, которая достоверно вела в Москву, в тот самый ИНО. Большевистская агентура оказалась на этот раз пойманной за руку, и советским комментаторам уже затруднительнее стало говорить о «беспочвенных подозрениях», как это было в случае с похищением генерала Кутепова в 1930 году.  Но для сильнейшего стресса хватало и тех обстоятельств, какие встретили Эфрона на родине.  Все девятнадцать лет жизни на чужбине он страстно мечтал о возвращении.  Облик родины в его собственных глазах не раз менялся. В последние же десять лет, незаметно для самого себя, он создал образ такой страдальческой святости, в котором уже совершенно размылись реальные земные черты.  Насколько быстро развеялся теперь в его сознании этот ореол? И успел ли он вообще до конца развеяться за то недолгое время, которое еще оставалось у Эфрона на земле?  К концу тридцать седьмого страна цепенела от страха: в городах и весях шла «великая чистка», железно проводимая недоростком-наркомом с кукольным личиком.  (Открытки с его фотопортретом продавались тогда на всех углах, и я, второклассница, однажды купила такую в газетном киоске — личико понравилось! Моя тетя, приехавшая как раз в эти дни из районного городка под Ленинградом, увидела открытку среди школьных тетрадок и на моих глазах с воплем разорвала ее в клочки. Я не очень поняла, что именно произошло, зато хорошо запомнила. Много позже мне объяснили, что тетя Шура приезжала тогда просить совета и помощи у моего отца, своего брата: только что был арестован ее муж — отец четверых детей.)  Размах арестов должен был бы, кажется, отрезвить самую романтическую голову. Но в одурманенном сознании здравая догадка не задерживается надолго. И кроме того, именно *размах* репрессий и не был виден! |

2

|  |
| --- |
| Это мы, потомки, знаем его в цифрах, фактах и чудовищных подробностях. А тогда оставалось просторное поле для самоутешения, которое всегда изобретательно. «Головотяпство и вредительство!» — эти слова, постоянно звучавшие из репродукторов, годились для обращения в любую сторону. Они должны были гасить все недоумения — и успешно выполняли свою роль, — во всяком случае, в представлении тех, кого еще не коснулась карающая десница.  Подождите, все скоро разъяснится и исправится. Посадили же Ягоду, несмотря на все его могущество, на скамью подсудимых! А XVIII съезд партии осудил уже и «крайности ежовщины»! Конечно, лес рубят — щепки летят. Но без ошибок не свершишь такое великое дело — социализм…  Весной 1938 года в Москве проходил третий и самый крупный политический процесс из тех, что ошеломили весь цивилизованный мир. На скамье подсудимых сидели теперь участники «правотроцкистского блока», и среди других — Николай Иванович Бухарин.  (Всего два года назад Эфрон видел и слышал его в Париже — энергичного, жизнерадостного. Он читал тогда свой доклад в зале Сорбонны по-французски.  Большие выдержки из доклада поместил затем журнальчик «Наш союз», выходивший в Париже под эгидой «Союза возвращения на родину». И Сергей Яковлевич посылал в отель «Лютеция», где остановился Бухарин, своего старого друга и коллегу Николая Андреевича Клепинина — для необходимых согласований…)  Заседания суда проходили в сравнительно небольшом Октябрьском зале Дома Союзов, вмещавшем около трехсот зрителей. Был ли среди них Сергей Эфрон? В принципе — мог бы: сотрудники НКВД и наполняли зал чуть не на две трети. Но если присутствие Эфрона можно только предполагать, то достоверно известно другое: в зале находился давний друг Сергея Яковлевича Илья Эренбург. Он только недавно приехал из Испании в Москву и как корреспондент «Известий» получил доступ в Октябрьский. В какой-то момент он оказался совсем рядом с Бухариным — они были знакомы с давних времен — и не узнал его! Настолько тот изменился.  Много толков вызвал на этом процессе эпизод, когда один из подсудимых — замнаркома иностранных дел Крестинский — во всеуслышанье отрекся от всех показаний, которые он давал на предварительном следствии. Это укоренило зерно сомнения у иных скептиков, давно уже подозревавших инсценированность процессов. Впечатление было сильнейшим. Но эпизод обсуждали с оглядкой — и только в самом узком кругу.  Крайне тревожно должно было прозвучать для Эфрона и его давних сподвижников по секретной службе во Франции упоминание на процессе — в опасном контексте — имени полпреда СССР в Париже Членова. Что это означало для тех, кто имел с ним дело еще совсем недавно?  Друг молодости Сергея Яковлевича, ставший мужем его сестры Веры, Михаил Фельдштейн, юрист по образованию, поначалу пытался адаптировать недавнего эмигранта к советской реальности, снять с его глаз бельма иллюзий.  — Но надо же тогда протестовать, если это правда! — восклицал прекраснодушный Сергей Яковлевич, наслушавшись всяких страстей.  Фельдштейн был арестован немногим позже полугода после приезда Сергея Яковлевича на родину, — летом тридцать восьмого.  Страшных и непонятных фактов было предостаточно. Но тяжелейшими для Эфрона стали те, которые касались вернувшихся из Франции эмигрантов. Каждого из них он знал в лицо. И вот посыпались новости, одна другой чудовищней: арестован, арестована, и этот тоже, и та.  В иных случаях еще можно было предположить какие-нибудь промахи, болтовню, мало ли что. Но что было думать об аресте Дмитрия Петровича Святополк-Мирского, умницы, интеллектуала, сподвижника по «Верстам» и «евразийству»? Или Николая Тимофеевича Романченко? Его Эфрон знал еще по Праге как чистейшей души человека. Усомниться в них было то же, что усомниться в самом себе…  Но исчезали не только бывшие эмигранты.  А что было думать об аресте Мандельштама? Двадцать лет — не такое уж долгое время (когда оно позади!), и в памяти Сергея Яковлевича был жив облик юного кудрявого Осипа, заливавшегося хохотом по любому поводу. В шестнадцатом году, когда он приезжал из Петрограда в Москву, влюбленный в Марину, и дебоширил у них в «обормотнике» на Сивцевом Вражке, — кто мог представить себе?.. Его арестовали (уже во второй раз!) в мае того же тридцать восьмого.  Эфрон приехал на родину тайком, тоже спецрейсом, как и Марина с Муром, и тоже на пароходе, только он носил имя «Андрей Жданов». Приехал в составе группы лиц, как считалось, замешанных в так называемом «деле Рейсса».  Четверых из этой группы (а может быть, ими состав группы и исчерпывался) теперь можно назвать поименно. То были С. Я. Эфрон, Н. А. Клепинин, Е. В. Ларин и П. И. Писарев. Отбор был достаточно случаен, чтобы не сказать странен. Ибо потом, на допросах, Клепинин будет настаивать на том, что ни он, ни Эфрон прямого отношения к «акции» с Рейссом не имели, они исполняли другие задания разведки. Но высокие чиновники из парижского отделения НКВД еще раньше отбыли в Москву. И список высылаемых из Парижа составляли люди, не слишком осведомленные в подробностях.  Так как группа привезена тайком — всем даны здесь новые фамилии. Сергей Яковлевич теперь уже не Эфрон, а Андреев, Клепинин — Львов, а Ларин — Климов.  Официально считалось, что Эфрон исчез где-то в Испании, — такова принятая версия. Резон ясен: если он (как и остальные) здесь, в Москве, то это аргумент в пользу участия Страны Советов в «акциях» и с Рейссом, и с похищением генерала Миллера. Исчезновение всех четверых из Франции совпало с моментом, когда французская полиция вышла на «советский след» в том и другом «деле».  Заводить новых знакомых вновь прибывшим не слишком рекомендуется. Да и с давними (доэмигрантскими) друзьями общаться можно лишь ограниченно. При всем том встречена была группа в Москве вполне заботливо. В декабре на месяц они отправлены в Кисловодск, в санаторий, — отдохнуть и набраться сил. А по возвращении в Москву поселены в Замоскворечье, в престижной Новомосковской гостинице, окнами выходящей на Кремль.  Привлекать их к новой работе не спешат. Правда, сразу же по приезде было сказано нечто не слишком внятное о возможности их отправки на спецслужбу… в Китай. Но чиновник, сообщивший об этом, вскоре куда-то отбыл, как говорили — в Париж. И исчез.  Только в феврале Эфрона и Клепинина вызвали к начальству на Лубянку. Неизвестно, порознь или совместно с каждым из них шла беседа. С человеком, который теперь их принял — это С. М. Шпигельглас, заместитель начальника Иностранного отдела НКВД А. А. Слуцкого, — встречаться в Париже Эфрону и Клепинину уже приходилось, и в последний раз не так уж давно — в июле тридцать седьмого. Но имени его они тогда не знали.  Со Шпигельгласом снова был разговор о работе в Китае. И опять какой-то неопределенный. Не потому ли, что в самом здании на Лубянке происходили как раз в те дни события непонятные и тревожные — даже для тех, кто вольготно расположился в важных креслах.  Именно в феврале 1938 года тело начальника ИНО Слуцкого было выставлено для последнего прощания в служебном зале: он скончался в кабинете другого своего «зама» — Фриновского — с подозрительной внезапностью. Внезапность мало кого из сослуживцев обманула.  Теперь Эфрон и Клепинин получили распоряжение ждать вызова к Фриновскому для решения своей участи. Две ночи подряд они провели в здании на Лубянке в тягостном ожидании (именно ночи, ибо сказано было, что их примут около двух часов, таков был тогда порядок!). И оба раза около трех часов утра прием отменяли.  Еще раз Шпигельглас вызвал Клепинина в апреле, тоже среди ночи. (Сергей Яковлевич уже был тогда тяжело болен.) И в течение двух часов пробавлялся болтовней о пустяках, время от времени прерывавшейся вопросом: способен ли он, Клепинин, выполнить задание, связанное с риском для жизни? — Где? В Китае? — Может быть, вовсе и не в Китае, для этого не обязательно выезжать за рубеж.  Разговор опять ничем конкретным не увенчался. А в июле исчез и Шпигельглас. |

3

|  |
| --- |
| НКВД усердно пожирал теперь уже собственных детей.  Летом 1938 года Ежов был еще, казалось, в зените своего могущества. Однако вскоре его заместителем был назначен Лаврентий Берия. И когда в декабре «маленького наркома» окончательно отодвинут с арены, советские граждане, с жадностью хватающиеся за любую надежду, в очередной раз будут говорить друг другу: «Ну вот, зло наказано…» Тем более что Берия начинает с громовых обличений «головотяпства» в хозяйстве своего предшественника.  Тем, кто уцелел из ежовских кадров, трудно было ощущать себя в безопасности. Впрочем, чей «кадр» был Сергей Эфрон? Ответить на вопрос трудно. Завербовывали его скорее все же люди Яна Берзина, а не Ягоды или Ежова. Именно Берзин возглавлял в тридцатые годы Разведывательное управление; Эфрон и его сотоварищи всегда называли себя «разведчиками».  Но и Берзин был расстрелян летом тридцать восьмого.  В том же году Эфрону было предоставлено жилье в подмосковном местечке Болшево.  Здесь ему отвели половину одноэтажного бревенчатого дома с двумя террасами, с камином в гостиной и паркетными полами. Паркет настлан, но воду надо носить из колодца; канализации, естественно, тоже нет. И туалет, по российскому обычаю, — во дворе.  Дом стоит прямо в сосновой роще. Вокруг него обширный участок с невырубленными деревьями — просто кусок леса — обнесен забором. Поблизости есть еще два таких же дома, но обитателей их не видно. Клепинины въехали на свою половину первыми, Сергей Яковлевич появился позднее, в октябре, вернувшись из очередного санатория, — загорелый, поздоровевший. Вместе с ним поселилась Ариадна. Ей было крайне неудобно ездить из Болшева в свою редакцию на электричке, но нежная любовь к отцу все перекрывала, и до приезда матери с братом Аля только изредка оставалась ночевать в Москве, у тетки в Мерзляковском.  Разоблаченная морока - i_007.jpg  *Дом в Болшеве*  Три уединенные дачи были выстроены в Болшеве в начале тридцатых годов для высокопоставленных сотрудников «Экспортлеса».  Та, в которой поселили Клепининых и Эфронов, предназначалась для директора «Экспортлеса» Бориса Израилевича Крайского. Он успел пожить тут почти четыре года — в тридцать седьмом его арестовали. И с этого времени дача считалась уже собственностью НКВД. В ней поселили начальника Седьмого управления НКВД Пассова. После странной смерти Слуцкого Пассова посадили в его кресло. Но прошло немного времени — и Пассова увезли из Болшева на родную Лубянку. Только уже не в собственный кабинет, а во внутреннюю тюрьму.  Разоблаченная морока - i_008.jpg  *Нина Николаевна Клепинина с Билькой*  «Дом предварительного заключения» — так назвала болшевское убежище язвительная Нина Николаевна Клепинина.  До приезда Цветаевой именно ей принадлежала роль лидера в распорядке жизни обитателей болшевского дома.  К июню тридцать девятого года их тут уже девять человек.  Разоблаченная морока - i_009.jpg  *Николай Андреевич Клепинин*  Одних Клепининых, то бишь теперь Львовых, — семеро: Николай Андреевич, Нина Николаевна, старший сын Алексей с женой и новорожденным малышом, другой сын Дмитрий и двенадцатилетняя дочь Софа. Николай Андреевич и Алексей работают в ВОКСе (Всесоюзном обществе культурных связей с заграницей). Нина Николаевна только недавно, летом тридцать девятого года, сумела устроиться на службу в контору «Интурист» и время от времени уезжала на дежурства в какой-то гостинице.  Незадолго до прибытия Цветаевой с Муром все младшие в доме получили от Клепининой строжайшее внушение: в комнаты Эфронов не входить, к Марине Ивановне не приставать, в гостиной и на террасах не шуметь. «Цветаева — великий поэт, — сказала детям Нина Николаевна, большая поклонница поэзии вообще и цветаевской в частности (знакомы с Цветаевой они были еще со времен Берлина), — а поэты не такие, как обычные люди. Покой Марины Ивановны должен быть священным».  Мите и Софе, а также молодым супругам — Алексею и Ирине — отныне строжайше запрещалось лишний раз дергать и Сергея Яковлевича. Предупреждение это было не лишним, потому что Эфрон уже успел приучить младших к полному панибратству. Когда здоровье позволяло, он охотно с ними возился, откликался на любое предложение игры, сам затевал всякие розыгрыши. Всегда приветливый, улыбающийся, он не давал никому повода догадываться о том, что было у него на душе, — даже своей дочери. Правда, Дмитрий Сеземан (сыновья Нины Николаевны были от первого ее брака и носили эту фамилию) вспоминал, что слышал однажды через стенку громкие, в голос, рыдания Сергея Яковлевича. Но Сеземан слишком часто недостоверен.  3  «Там была чудная атмосфера» — так вспоминала болшевское время Ариадна Эфрон спустя двенадцать лет, в одном из писем Борису Пастернаку.  Можно не сомневаться в искренности ее признания. Но верится ему с трудом.  Пожалуй, даже и вовсе не верится. «Чудной» атмосфера в Болшеве могла быть разве что для самой Али, в ту пору счастливо влюбленной. Впрочем, и Нина Гордон, близкая подруга Ариадны, не однажды приезжавшая с ней в Болшево, тоже вспоминает «легкий, веселый день», проведенный здесь.  В ее воспоминаниях есть совершенно идиллический эпизод:  «…Зимний морозный вечер тридцать девятого года.  Муля и я в Болшеве у Али, — еще до приезда Марины Ивановны. Ужинаем вчетвером — Аля, Сергей Яковлевич, Муля и я — в Алиной комнатке. Топится печка, неяркий свет лампы под потолком, на столе клетчатая скатерочка, окна занавешены, на стене свежая еловая ветка, и от нее пахнет Рождеством; вкусный ужин, тихий, какой-то радостный разговор, надежда на скорый приезд Марины и Мура, Алины шуточки, громкий ее смех, добрая, с мягкой иронией улыбка отца. Какие-то все радостные, оживленные. Уют, покой…  Кто мог подумать тогда, как зыбок и ненадежен этот покой, как жестоко и безжалостно будет уничтожена эта семья…»  Но Сергей Яковлевич не мог не ощущать зыбкости болшевского покоя!  Уже были арестованы многие его друзья и соратники. Он пытался и ничего не смог сделать для них. Неудачные попытки защиты уже могли бы прояснить ему, что здесь он ни для кого ничего не значил, что его заступничество — не более чем писк в мышеловке. Догадывался ли он об этом? Или уже понимал?  Строго говоря, все происходящее вокруг не должно было бы оказаться для него совсем уж неожиданным.  Меньше чем за месяц до стремительного отъезда из Франции Эфрон мог многое узнать от своей давней приятельницы Веры Трейл, в сентябре 1937 года вернувшейся из Москвы. Вера пробыла в Советской России достаточно долго. Она обучалась в подмосковной школе разведчиков НКВД и привезла тогда в Париж известия о множестве арестов, которые коснулись людей, знакомых им обоим. 20 сентября Вера Александровна родила дочь. Она лежала в одной из парижских клиник, и Сергей Яковлевич много дней подряд навещал ее там — так что времени у них было предостаточно. (Я знаю об этом непосредственно от В. А. Трейл, с которой успела обменяться несколькими письмами в конце 1979 года.) Известия она привезла ужасающие. Но Веру Сергей никак не мог заподозрить в преувеличениях или плохой информированности.  В Болшево нередко наезжали репатрианты. В основном это были сподвижники Эфрона по службе в советской разведке за рубежом. Они приезжали с пугающими новостями, вопросами, — а иные с растерянностью и надеждой на поддержку.  В тридцать восьмом — тридцать девятом здесь побывали Тверитинов, Афанасов, Смиренский, Балтер, Яновский, Кондратьев. Тот самый Вадим Кондратьев, которого в тридцать седьмом разыскивала французская и швейцарская полиция как участника «акции» под Лозанной в сентябре того же года. Тогда его портреты были помещены — для опознания — во множестве французских и бельгийских газет. Кондратьев был в родстве и дружбе с Клепиниными, и потому Нину Николаевну вызывали в те дни во французскую полицию и настойчиво допрашивали, что она о нем знает (Николая Клепинина к тому времени в Париже уже не было). Кондратьев был раньше других переправлен в СССР, а здесь вскоре отправлен на юг — в санаторий. В Болшеве он объявился в конце тридцать восьмого и как гость Клепининых прожил там некоторое время. |

4

|  |
| --- |
| Заслуженным кадрам Учреждения нередко давали тепленькие местечки — и свою работу они продолжали в новых условиях. Так, приехавшего из Бельгии Писарева назначили директором столичного кафе «Националь», облюбованного московской художественной элитой и сотрудниками НКВД. Другой репатриант — с теми же заслугами — Перфильев — стал директором известного столичного ресторана «Арагви». И в директорских комнатах «Националя» и «Арагви» устраивались свидания сугубо секретного свойства…  Но все же приехавшие не чувствовали себя защищенными.  Кондратьев избежал ареста на родине, скорее всего, потому, что из-за туберкулеза почти сразу уехал на Кавказ. Там лечился, а затем ему предложили остаться на юге и служить. Родные Кондратьева рассказывали мне, что, приехав в Грузию, Вадим Филиппович пытался уговорить свою жену бежать морем в Турцию; она не решилась. Умер он своей смертью, в Москве, от туберкулеза, но на его могиле родным не разрешено было даже обозначить имя покойного.  В тридцать девятом году летом в Болшеве (там уже жила Цветаева) объявился Василий Васильевич Яновский. Он приехал из Испании и с возмущением рассказывал о практике работы советских агентов НКВД в рядах Республиканской армии. Нина Николаевна Клепинина взялась помочь ему в составлении рапорта в органы НКВД. Симптоматичная подробность! Обитателям Болшева расправы с «троцкистскими агентами» в Испании еще представляются возмутительным извращением правильной партийной линии!  «Чудная атмосфера»?  Но не только Ариадна была так безмятежна — при том, что шли последние месяцы ее свободы. И Дмитрий Сеземан называет в воспоминаниях то время если не чудным, то «спокойным» и даже «приятным». Ему тогда исполнилось семнадцать. Мать была с ним нежнее, чем с двумя другими своими детьми, чему имелось уважительное объяснение: у Мити был туберкулез. Болезнь то затихала, то обострялась уже не первый год, и в лучах непрерывной обеспокоенной заботы матери мальчик рос себялюбивым баловнем.  Разоблаченная морока - i_010.jpg  *Ирина Горошевская*  Никаких тревожных подробностей не сохранилось и в памяти жены старшего сына Ирины. Естественно, впрочем, что все ее радости и огорчения были целиком сосредоточены на маленьком сыне — да еще на муже, изобретательно уклонявшемся от помощи своей молодой жене. Легко предположить еще и то, что в присутствии невестки в доме не вели никаких серьезных и опасных разговоров. Помимо ее юного возраста, она была «пришлая», не своя.  Ирину удивлял, правда, странный распорядок в доме, когда свекор и свекровь, а иногда вместе с ними и Сергей Яковлевич, вдруг отправлялись «на работу», в Москву, совсем поздним вечером на приезжавшей за ними машине. Возвращались утром — посеревшие, усталые, молчаливые. Может быть, это и были ночные вызовы к Шпигельгласу или Фриновскому?  Но она хорошо запомнила случай, когда старшие увезли с собой на целую ночь ее мужа.  Разоблаченная морока - i_011.jpg  *Алексей Сеземан*  Нина Николаевна вошла тогда в их комнату — было поздно, они уже легли — и сказала сыну голосом, не допускавшим ни вопросов, ни обсуждения:  — Поедешь с нами.  И Алексей поехал. Это вызвало у Ирины разные чувства. Но не страх. Рассказывал ли муж, вернувшись, зачем его возили? Во всяком случае, Ирине это не запомнилось. Значит, не так уж поразило, не напугало. До сих пор Ирине Павловне кажется, несмотря на эти подробности, что предощущения катастрофы, вскоре здесь разразившейся, — не было.  И только Софья Николаевна Клепинина-Львова настаивает: было.  Разоблаченная морока - i_012.jpg  *Софья Клепинина*  В ее памяти тревога висела в воздухе болшевского дома.  Взрослые прекрасно понимали, пишет Софья Николаевна в своих воспоминаниях, что, скорее всего, им придется разделить судьбу множества ни в чем не повинных людей, которых арестовывали вокруг. Деловитостью, занятостью старшие пытались замаскировать от младших непроходящий страх. Днем делали вид, что все идет как надо, — и каждую ночь ждали ареста…  Спустя полвека после той осени Софье Николаевне довелось прочесть чудовищные документы: протоколы допросов матери и отца в застенках Лубянки…  4  Порог этого дома и перешагнула вернувшаяся в Россию Марина Цветаева.  Из столицы Франции — шумной, беспечной, сверкающей блеском всегда свежевымытых окон кафе и витрин магазинов — в русскую деревню. «Деревней» Цветаева называла Болшево в письмах, которые она писала еще в Париже, своей пражской приятельнице Анне Тесковой. Но здесь с первых же минут стало ясно, что муж ее живет не в деревне. И не в селе, и не в городе. Где-то между.  Этот дом, вполне основательный на первый взгляд, стоял таким особняком, отдаленным от всего и всех, что в его стенах, казалось, прочно поселилась настораживающая неприкаянность. В другое время — радоваться бы. Отъединенность от суеты. Приволье для прогулок. Сухая песчаная земля, высокие стройные сосны. Благословенная тишина; только изредка прошумит проходящий мимо поезд.  19 июня 1939 года стоял жаркий летний день. Уже несколько недель подряд небо было безоблачным. Легкий запах нагретой хвои, неправдоподобная тишина. Даже пес не залаял, выбежав им навстречу: низкорослый белый французский бульдог Билька с розовыми смешными ресницами, привезенный Клепиниными из Парижа, был глухонемым.  Разоблаченная морока - i_013.jpg  *Марина Цветаева*  Невестка Клепининой, юная Ирина, с нетерпеливым любопытством ожидавшая приезда «парижанки», была разочарована. Парижанка оказалась совсем не эффектной — усталое лицо, стриженые, с сильной проседью волосы, и в тон им — серое платье. Короткие рукава и широкий пояс, охватывающий тонкую талию. Едва поздоровавшись, она прошла на эфроновскую половину — и надолго там исчезла.  Потом, конечно, они познакомились и подолгу стояли друг подле друга на обшей кухне, хлопоча над керосинками. Но близкого контакта так и не получилось. Марина Ивановна оставалась замкнутой, молчаливой, неулыбчивой, будто ушедшей глубоко в себя.  Нет ничего, впрочем, странного в том, что все казались ей лишними в эти первые дни свидания с мужем. Слишком долгой была разлука. Слишком многое произошло за эти восемнадцать месяцев, которые они провели по разные стороны нескольких государственных границ.  Арест Али и Андрюши не укладывался в сознании. Но, кроме всего прочего, легко предположить, что Марина Ивановна испытала острейшее чувство дискомфорта, оказавшись вдруг в условиях коммунальной квартиры. Не только «места пользования» (замечательный термин советского общежития) были общими, общей была и гостиная, так что нельзя было выйти из комнат без свидетелей.  Трагические события, навсегда отметившие это место, поделят срок болшевского заточения Цветаевой почти пополам. Лишь первые девять недель пройдут в относительном спокойствии. И потому придется решительно оспорить утверждение Виктории Швейцер в ее книге, будто Болшево было «самым спокойным и счастливым временем: все были живы и вместе».  Какое там! Никаких следов душевного благополучия, да даже и относительного спокойствия мы не найдем ни в сохранившихся записях самой Марины Ивановны, ни в рассказах уцелевших современников.  Трудно представить себе их встречу.  Разоблаченная морока - i_014.jpg  *Сергей Эфрон*  За долгие месяцы разлуки Цветаева прошла Голгофу общеэмигрантского осуждения и отторжения. Муж скомпрометировал ее в глазах всего русского Парижа скоропалительным исчезновением в октябре тридцать седьмого. Несколько недель подряд его имя не сходило тогда со страниц парижских газет. И хотя конкретная роль Эфрона в «акции» была совершенно не ясна, газеты не церемонились с обвинениями. |

5

|  |
| --- |
| Все эти месяцы разлуки сердце ее жгла прежде всего боль жестокой несправедливости по отношению к чистейшему в ее глазах Сергею Яковлевичу.  Если она и допускала в самом деле, что доверие его могло быть обмануто и против воли он оказался втянут во что-то сомнительное, то только обманом и только против воли — не иначе.  В чистоту помыслов и намерений мужа она верила тверже, чем в непогрешимость папы римского. Но сколько у нее должно было возникнуть вопросов в те тяжкие месяцы! И тогда, когда в полиции предъявили ей странную телеграмму от января тридцать седьмого года — для опознания почерка, и когда множество уличающих подробностей запестрели на страницах эмигрантских газет…  И вот после всего пережитого — встреча.  Что они рассказали друг другу? О чем спросили? В чем признались? Мы уже никогда об этом не узнаем.  Сохранились лишь некоторые осколки достоверного. Но именно осколки. Ибо это почти закодированные записи Цветаевой в ее дневнике. Они сделаны год спустя.  Стоит прекрасное цветущее лето. На участке сооружен примитивный душ — можно и облиться холодной водой, если станет невмоготу от зноя. Настоящее купанье далеко, и обитатели дома ленятся туда ходить.  Сергей Яковлевич вбил между двух сосен железный прут и подвесил на нем физкультурные кольца. Их использовали редко, хотя с приездом Мура — чаще: Эфрон считал, что мальчик для своих четырнадцати лет полноват и ему надо заниматься спортом. И кроме того, спорт, физкультура высоко котировались в советском обществе тридцатых годов.  (Эти кольца!.. Мы о них еще вспомним…)  Семья наконец-то собралась вместе. Правда, две эфроновские комнатки очень малы, просторна только гостиная, общая с семьей Клепининых. Мебель — самая примитивная, нет даже платяного шкафа. Одежда, стыдливо прикрытая простыней, висит прямо на гвозде, вбитом в стену.  Но к этому Марине Ивановне не привыкать: почти всегда в эмигрантские годы они так и жили.  В доме — сносный достаток; Сергей Яковлевич получает жалованье, хотя в эти летние месяцы он редко ездит в город — болезни его не оставляют.  Кухня — увы! — общая. И потому труднее махнуть рукой на гору невымытой посуды, отложить до другого часа. А мытье посуды — целое событие, то есть долгое отнятое время, когда в доме нет водопровода.  В будние дни семьи порознь готовят еду и порознь обедают.  Объединяются по воскресеньям. Тогда накрывают стол на одной из террас, и тут хватает места не только для постоянных обитателей, но и для гостей.  Гости не часто, но бывают. Чаще всего это родня Клепининых и Эфронов. Приезжает Лиля, Елизавета Яковлевна, сестра Сергея, — теперь это седая красивая женщина с огромными лучистыми глазами; приезжает восемнадцатилетний Константин, сын Веры Яковлевны. Приезжает Ариадна. После того как здесь поселились мать и брат, она уже не живет в Болшеве постоянно, но когда появляется, привычно берет на себя хозяйственные хлопоты: стирает, готовит обед, моет посуду. Она весела и улыбчива, однако Цветаева запишет потом странную фразу о ней в своем дневнике: «Энигматическая (то есть загадочная. — *И. К.*) Аля. Ее накладное веселье…»  Тем, кто знал Марину Ивановну в болшевский период ее жизни, больше всего запомнились тяжелая замкнутость, хмурая молчаливость — и неожиданные вспышки раздражения.  К общему столу она выходила из своей комнаты отстраненно вежливая, с потухшим взглядом. Казалось, ей нужно было усилие, чтобы включиться в общую беседу или ответить на вопрос, к ней обращенный. «Женщиной с неоттаявшим сердцем» называла Цветаеву Ирина Горошевская, юная жена Алексея Сеземана.  С. Н. Клепинина-Львова отмечает другую подробность, которой с трудом веришь, настолько она расходится с тем, что мы знаем о Марине Ивановне по другим свидетельствам.  Цветаева, настаивает Клепинина, была крайне неласкова и даже сурова, жестка с сыном! Двенадцатилетняя Софа, воспитанная строгой, но неизменно выдержанной матерью, буквально остолбенела, оказавшись однажды свидетельницей пощечины, доставшейся Муру от Марины Ивановны. И повод-то к тому был, как ей помнится, пустячный.  Мур плакал тогда, спрятавшись ото всех, а однажды — так вспоминает Софья Николаевна — «чуть было не убежал под электричку»…  Внешне холодная, глубоко ушедшая в себя Цветаева теперь нередко взрывалась. Доставалось обычно тому же сыну. Но Горошевская запомнила и другой случай. Когда с безумным криком Марина Ивановна выбежала из своей комнаты, услышав, как Ирина выронила из рук кастрюльку с детской кашей у самой двери Эфронов.  Эта глухая замкнутость, эта перемена в отношении к сыну и болезненная резкость реакций дают основания предположить, что в Болшеве, едва вернувшись на родину, Цветаева переживает какое-то сильнейшее потрясение, к которому она оказалась абсолютно не готова.  Нечто, от чего она не может прийти в себя.  Естественно в таком состоянии жаждать уединения. Но в болшевском доме она не может остаться наедине с собой. Каждый ее шаг — на глазах других. И это усугубляет внутреннее напряжение. Мешают все, мешает даже обожаемый сын, временами невыносимо упрямый и капризный. На нем, как на совсем своем (в этом случае всегда хуже срабатывают тормоза), Марина Ивановна срывается особенно часто.  Но в чем же дело, что означает это напряжение? Ведь даже спустя полгода, в Голицыне, в писательском доме, ее видели уже иной. Гораздо более спокойной и контактной. Там, за общим табльдотом, она временами даже блистала — так что все вокруг затихали, прислушиваясь к ее рассказам о Чехии и о Франции или к рассуждениям на литературные темы…  Что потрясло ее в Болшеве, вскоре (или даже сразу) по приезде? Кажется, тут и гадать нечего: достаточно ареста любимой сестры и ее сына. А еще ареста Миши Фельдштейна, которого она знала еще со времен давнего счастливого Коктебеля. И ареста Мандельштама. Скорее всего, она узнала и об аресте Святополк-Мирского, дружба с которым родилась во Франции; как раз в этом июне он уже умер в лагере. Чего она наверняка не знала, так это того, что совсем неподалеку от Болшева, в Калуге, в это время жил вернувшийся из лагеря Никодим Плуцер-Сарна. Все это были люди из ее жизни, их судьбы были тесно сплетены с ее собственной судьбой.  Так. И все-таки… Нельзя ли предположить и еще одну причину? Именно ту, что здесь, в Болшеве, Марина Ивановна *осознает*, с кем же связал себя ее муж. Во Франции это называлось «Союз возвращения на родину». И еще: «советское полпредство». А после 1936 года — «Испания». Однако в их браке давно уже не было открытой доверительности, каждый жил своей жизнью до конца.  Но перед возвращением в СССР люди из «полпредства» должны были разъяснить ей, что ее муж — советский разведчик, и потому ей придется по возвращении на родину соблюдать некие правила и запреты. Я делаю это допущение по аналогии: Ариадна Эфрон в письме, посланном из Туруханска на имя министра внутренних дел Круглова с просьбой о реабилитации (от 22 сентября 1954 года), рассказала о том, что в Париже, в советском полпредстве, перед самым ее возвращением на родину, с ней провели подобную беседу. Цель беседы была инструктивная (и, по-видимому, запугивающая): «Поскольку Ваш отец — советский разведчик…» Впрочем, ничего конкретного в случае с Цветаевой неизвестно.  Однако слово «разведчик» все-таки еще окрашено оттенками жертвенности и самоотречения, хотя щепетильный слух нашего современника и тут различит сомнительный привкус жертвы не только собственной. Далекой от политики Марине Ивановне неоткуда было знать, что уже в мае 1937 года Разведуправление Красной армии было объединено с НКВД. И что с этого момента Эфрон принадлежал к ведомству, связанному самой прямой преемственной связью с ГПУ и Чека. Никакие оговорки не могли отменить того, что служил он теперь в *том самом Учреждении*, которое поглотило и Асю, и ее сына Андрюшу, и всех остальных. Очутившись в Болшеве, Цветаева впервые осознала эту чудовищную истину.  За четыре месяца, которые она провела здесь с мужем почти безвыездно — с 19 июня до 10 октября, — можно было успеть переговорить обо всем на свете. Что же сказал ей теперь Сергей Яковлевич? Что понял он сам, вернувшись на родину? Ведь еще в Париже, за две-три недели до его высылки, в эмигрантской и французской прессе появились отрывки из письма Рейсса в Центральный Комитет партии большевиков. |

6

|  |
| --- |
| Уже тогда они могли стать первыми толчками прозрения. Да еще устрашающие сведения, которые привезла из Москвы Вера Трейл. Какой же болью, физически разрывавшей сердце, отозвались в нем догадки об истине! Может быть, те рыдания, о которых упоминает в своих мемуарах Сеземан, — не стоит целиком относить на счет причуд памяти Дмитрия Васильевича?.. Трудно сказать, был ли Сергей Яковлевич теперь до конца откровенен с женой. Хотя многого ей и не нужно было знать, чтобы понять главное.  «Его доверие могло быть обмануто — мое к нему останется неизменным». Так сказала она о муже на допросе во французской полиции. Доверие Сергея Яковлевича действительно оказалось жестоко обманутым. Не эта ли догадка составила самое тяжкое потрясение для Цветаевой в первые же недели ее пребывания на родной земле?  5  Существуют два достоверных свидетельства, принадлежащие перу самой Цветаевой, которые помогают до некоторой степени ответить на этот вопрос. К сожалению, именно *до некоторой степени* — и сейчас мы это увидим.  Только год спустя, после долгой волокиты, Цветаева получит с таможни свой багаж и достанет из кожаного кофра записную книжку, в которой она сделала последние парижские заметки. Первые строки, появившиеся на родной земле, написаны 5 сентября 1940 года. Цветаева коротко записывает события годовой давности:  «18-го июня приезд в Россию, 19-го в Болшево. На дачу, свидание с больным С. Неуют. За керосином. С. покупает яблоки. Постепенное щемление сердца. Мытарства по телефонам. Энигматическая Аля, ее накладное веселье. Живу без бумаг, никому не показываясь…»  Прервем запись, чтобы отметить ее необычную стилистику: это почти что шифр! События, факты фиксируются сухо, пунктирно. Тем весомее отдельные формулировки. То, что С., это Сергей Яковлевич — понятно. Но главное скрыто между строк, за строками, за словами. Чуть дальше Цветаева пояснит: «Все это — для моей памяти и больше ничьей: Мур, если и прочтет, не узнает. Да и не прочтет, ибо бежит такого».  Пояснение, далекое от исчерпанности.  Ибо на стилистику явственно влияет знание, приобретенное Мариной Ивановной после обысков и арестов в Париже. Спустя год она уже хорошо представляет себе опасность письменного слова.  Продолжим цитирование:  «Торты, ананасы — от этого не легче. Прогулки с Милей. Мое одиночество. Посудная вода и слезы…»  Упомянута Миля — это Эмилия Литауэр. Давняя близкая приятельница Клепининых и Эфрона.  Разоблаченная морока - i_015.jpg  *Эмилия Литауэр*  (Сейчас ей тридцать пять. Из России ее подростком увез отец, она училась в Марбургском университете в Германии, потом окончила Сорбонну, лиценциат философии. Участвовала в евразийском движении, сотрудничала в газете «Евразия», публиковала в ней статьи на историко-философские темы — о Гуссерле, о Хайдеггере, о персонализме. Вступила во Французскую компартию. Из Франции приехала почти пять лет назад. И с тех пор как в Болшеве поселились Клепинины, она здесь — почти ежедневная гостья. Самый близкий ей человек в болшевском доме — Клепинина. Те, кто еще теперь жив, не сговариваясь, запомнили Эмилию стоящей за стулом Нины Николаевны и как бы вторящей всему, что та говорила.)  Но вернемся к дневнику Цветаевой. Чуть далее:  «Болезнь С. Страх его сердечного страха. Обрывки его жизни без меня, — не успеваю слушать: полны руки дела, слушаю на пружине. Погреб: 100 раз в день».  И еще, через несколько фраз: «Начинаю понимать, что С. бессилен, совсем, во всем…» И — рядом: «Обертон — унтертон всего — жуть».  Нота бене! Ведь это уже воспоминания; это спустя год Цветаева оставляет зарубки для своей памяти о первых днях и неделях болшевской жизни.  О самых первых! До ареста дочери! О дне ареста будет сказано позже. И именно тут — признание: *«обертон — унтертон всего — жуть».*  Тут можно домыслить многое…  Но почему, среди другого, в этой записи сказано: «мое одиночество»? Это звучит странно: ведь в Болшеве семья наконец-то снова собралась вместе, ее теперь не разделяют государственные границы, непреодолимые расстояния. Не переносит ли Цветаева из сорокового года в тридцать девятый свое ощущение сиротства? В сентябре сорокового действительно около нее уже нет ни мужа, ни дочери…  Однако сохранилось еще одно свидетельство, на этот раз прямо из тех дней.  Это запись в так называемой «Болшевской тетради».  Цветаева завела тетрадь через месяц после приезда. Педантично отметила в ней дату: 21 июля 1939 года. На первом листке написаны два слова: «природа помощь», причем трудно сказать, цветаевский ли это почерк. Слова вполне могли бы принадлежать Марине Ивановне. Но почему они здесь — неясно. Напоминание самой себе — в минуты сердечной тяжести?  Тетрадь предназначена для работы над переводами стихотворений Лермонтова на французский язык. Приближался юбилей поэта — 125 лет со дня рождения. Марина Ивановна решила перевести несколько лермонтовских стихотворений, чтобы затем предложить их в «Ревю де Моску» — еженедельник, где работала Ариадна. Можно уверенно сказать, что в эти дни она берется за перевод не ради заработка, а потому что без творческой работы, без нескольких утренних часов уединения за столом с пером в руке, она страдает, ей невмоготу. Это всегда так было — и почему бы измениться теперь?..  И вот на обороте странички, запечатлевшей перевод стихотворения «В полдневный жар, в долине Дагестана…», — прозаический текст, почерком Цветаевой, на французском языке. Неясно, почему на французском? Ведь в болшевском доме все, кроме Ирины, этот язык знали. Не из-за нее же…  Текст в переводе на русский звучит так:  «Я ощущаю здесь собственную бедность, которая кормится объедками (любовей и дружб всех остальных). Судомойка — на целый день (19 июня — 23 июля), 34 длинных дня, с 7 ч. утра до 1 ч. ночи. “Ничего, это ненадолго!” Но все-таки это 34 дня моей жизни, моей головы, моих мыслей. Только я, я одна, выливаю грязную воду из-под посуды в сад, чтобы таз под раковиной, переполняясь через край, не пачкал пол. Одна, без всякой помощи. Да и просто — одна.  Все вокруг здесь поглощены общественными проблемами (или кажутся поглощенными): идеи, идеалы и т. д. — слов полон рот, но никто не видит несправедливости в том, что у меня облезает кожа на руках, — натруженных от работы, которую никто не ценит».  На обороте страницы — дата: 22 июля 1939 г.  Далее в тетради идет текст «Казачьей колыбельной».  Усталость, раздражение, жалоба — все слилось в этой записи, сделанной, по-видимому, наспех. Это не попытка осмысления пережитого за месяц, это только мимолетный отвод горечи, не более. И хотя запись сделана на «секретном» (от неведомых чужих глаз) французском языке, в ней — ни полслова о том, что же происходит за пределами болшевского дома. Доминирующая нота — отчужденность от всех внутри домашних стен.  И похоже, что посуда и грязная вода в тазу — только повод, чтобы признаться самой себе: опять среди чужих…  (Когда два десятилетия спустя «Болшевскую тетрадь» впервые раскрыла вернувшаяся из ссылки Аля, ее рассердила эта запись. В ее памяти все было не так! Это она, Аля, вела хозяйство, мыла посуду — не мать! Такое «опровержение» и записала, со слов Ариадны Сергеевны, в свою книгу «Марина Цветаева в жизни» Вероника Лосская. Но бессмысленно подвергать сомнению искренность Цветаевой перед собой. В Ариадне Сергеевне (я сама тому свидетель) временами прорывалась застарелая раздраженность по отношению к матери. Ей самой все бытовое давалось легко и никогда не составляло страдания. Для Марины Ивановны — составляло. Настолько, что засилье «бытового» она вообще отказывалась называть «прозой жизни», настаивая: это не проза, это трагедия! Потому что быт обирает живых людей, не давая им осуществить себя…)  Однако болшевская запись об одиночестве вобрала в себя и некий новый оттенок. |

7

Очевидно, что на коммунальной площади загородного дома Цветаева оказалась в теснейшем ежедневном контакте с людьми совсем иного, чем она сама, душевного замеса и склада. И дело в данном случае вовсе не в поэтическом даре.

В самом деле, все те личные друзья Марины Ивановны, которых она сама выбирала: Волконский, Бальмонт, Сонечка Голлидэй, Анна Ильинична Андреева, Ариадна Берг — были явно «из другого теста». Даже Марк Слоним, даже Елена Извольская — люди, вовсе не лишенные общественного темперамента, — и они были иной внутренней породы, чем Клепинины, Эмилия, даже и Сергей Яковлевич. Не высшей, не низшей — *иной*. Это трудно обозначить в рациональных понятиях. Что же как не разница породы уберегло этих выбранных самой Цветаевой друзей и от «Союза возвращения», и — тем более — от связей с какими бы то ни было «секретными службами»? У них была другая генеалогия — и в ней не было ни Желябовых, ни Клеточниковых. Марк Слоним или Анна Ильинична Андреева тосковали об утрате родины не менее горячо и сильно, чем «возвращенцы». Но вернуться в теперешнюю Москву они просто не могли. И причины были внутренние, а не внешние. Они сделали единственный возможный для себя выбор. У Цветаевой он был отнят ее семьей.

Но вернемся к «Болшевской тетради».

Знаменательна в записи почти презрительная обмолвка о поглощенности обитателей дома политическими проблемами.

«Идеи», «идеалы», «слов полон рот», — пишет Цветаева. И мы слышим голос автора поэтического цикла «Гамлет», обличавшего «героев» высокой фразы; слышим и отголосок пафоса «Читателей газет»…

Не сами идеи и идеалы ее всегда раздражали, но их опасная двухмерность, бескровность, книжность. Этот тип интеллигента она разглядела уже давно: легкого на клятвы, болеющего всегда не меньше чем за все человечество — и не замечающего в упор ничего, что рядом.

Бесконечные разговоры об «идеалах» в ее глазах — симптом. Опознавательный знак, мета. За которой чаще всего — структурные дефекты личности или, скажем осторожнее, — ее особенности. И эти «особенности» мы еще — увы! — увидим…

Итак, в записи сказано и об этом — об ощущении себя, так сказать, инородным телом среди прочих болшевцев.

Между тем никакой иной среды здесь у Марины Ивановны нет.

Ибо по существу она живет под домашним арестом.

Мария Белкина приводит в своей книге фразу, сказанную уже в ноябре Пастернаком Анатолию Тарасенкову (последний занес ее в свой дневник): о том, что Цветаева вернулась на родину и живет здесь инкогнито. Но почему же инкогнито?

Вразумительного ответа ждать пока не от кого, хотя похоже, что причина — та же, какая вынудила ее мужа носить фамилию «Андреев». Ибо если Эфрона нет в СССР, значит, и жены его здесь не должно быть. Дабы и вопросов не возникало. Потому-то ее выезды из Болшева если не запрещены, то «не рекомендованы». Что для советских граждан было равносильно строжайшему запрету.

За все время с середины июня по 10 ноября 1939 года достоверно известен единственный выезд Цветаевой в Москву. В дневниковой записи сорокового года дата этой поездки означена отсчетом от дня ареста Ариадны: «Последнее счастливое видение ее, — дня за 4 — на Сельскохоз. выставке “колхозницей” в красном чешском платке — моем подарке. Сияла».

Значит, это было в двадцатых числах августа. 21 августа Цветаева получила паспорт, скорее всего — в Москве. Не оттого ли и стало возможным посещение выставки?

Но все это означает, что Марина Ивановна оказалась обреченной на ежедневное общение с людьми, которых она в друзья себе не выбирала. Может быть, это тоже объясняет нам остроту ее жалобы в «Болшевской тетради»?..

6

При всем том чета Клепининых по-своему замечательна. Одна из наиболее ярких ее черт состояла в теснейшем сплетении глубокой и деятельной религиозности — с сильнейшей потребностью в общественной активности.

Нина (по документам она Антонина) Николаевна, урожденная Насонова, дочь известного ученого-биолога, еще до революции получившего звание академика, училась на Бестужевских курсах, потом занималась живописью у Петрова-Водкина. Была секретарем Городской продовольственной управы в период Февральской революции. Позже — уже во Франции — примкнула к евразийскому движению. В тридцатые годы была одним из инициаторов основания Патриаршего прихода в Париже на улице Петель, подчинявшегося российскому патриарху.

Николай Андреевич Клепинин во время Гражданской войны — поручик деникинской армии, «сиделец» в Константинополе, а в 1926 году — участник Первого зарубежного монархического съезда. Через короткое время — он уже член ЦК «евразийской организации». Затем поездка в Америку и учеба в университете Бостона. По возвращении — недолгое время — сотрудник издательства «ИМКА-Пресс», секретарь Русского Богословского института в Париже. Журналист, сотрудник еженедельника «Завтра», автор нескольких статей в философском журнале «Путь» и двух книг. Родной брат священника Дмитрия Клепинина, получившего известность прежде всего благодаря тому, что в годы Второй мировой войны он был сподвижником матери Марии, спасавшей евреев от фашистов.

Знакомство Клепининых с Эфронами произошло давно. Сын Клепининой Алексей Васильевич утверждал даже, что его мать знала Марину Ивановну еще со времен учебы на Бестужевских курсах — уже тогда они бывали в общих компаниях. Потом встречались в Берлине. И уж затем — во Франции, где жили неподалеку друг от друга. А в 1933 году супруги Клепинины завербованы Сергеем Яковлевичем в советские спецслужбы. Нина Николаевна возглавит вскоре бельгийскую группу эмигрантских секретных сотрудников. В феврале 1936 года — знаменательный эпизод. Исполняя поручение советской разведки, она поедет с семьей в Норвегию, дабы подтвердить место проживания Троцкого. Она даже беседует со знаменитым человеком минут пять-семь, о чем впоследствии ей придется писать — уже арестованной! — «объяснительную записку» в стенах Лубянки.

Клепинины любят поэзию, неплохо ее знают, при случае и сами способны написать стихи. А Нина Николаевна временами что-то переводит с русского на французский, и кажется, именно поэзию.



*Дмитрий Николаевич Журавлев*

*Москва. 1940 г*.

Супруги Клепинины с уважением, заботой и почтением относятся к Марине Ивановне. Это проявится и на допросах. Ибо там их будут спрашивать и о Цветаевой…

В это лето по выходным дням в болшевском доме устраивали иногда нечто вроде литературных вечеров. Как чтец тут блистал молодой и талантливейший Дмитрий Николаевич Журавлев. Он приезжал в Болшево вместе с Лилей Эфрон, которая была его режиссером. И превосходно читал стихи и прозу. Тут были его любимые слушатели и, кроме того, замечательная площадка для «прокатывания» новых программ.



*Елизавета Яковлевна Эфрон*

Читает свои стихи и Марина Ивановна. В такие вечера ее видят оживленной и приподнятой. Она преображается.

Что же именно она здесь читает? Ни двенадцатилетняя Софа, ни юная жена Алексея Сеземана совсем не знали тогда цветаевской поэзии. Ирине Павловне запомнилось неопределенное: «Что-то о белых лебедях…»

Неужто она здесь читает свой «Лебединый стан»? В стране победившего воронья? Но какие еще могут быть лебеди, кроме тех, обреченных, среди которых был тогда ее Сережа? «Лебединый стан», стихи о Белой армии, созданные в трагическое трехлетие 1918–1920.

— Где лебеди? — А лебеди ушли.

— А вороны? — А вороны — остались.

В памяти Дмитрия Сеземана сохранилось и другое: чтение Цветаевой стихотворений Пушкина, переведенных ею на французский язык.

|  |
| --- |
| А однажды после чтения Журавлевым глав из «Войны и мира» в один из таких вечеров возник спор. Прослушав эпизод первого бала Наташи Ростовой, Цветаева задумчиво сказала: «Толстой умудрился влезть в шкуру портнихи. Вероятно, это хорошо». Это «вероятно» вызвало тогда оживленную полемику…  Крайне недоброжелательный по отношению к Цветаевой Д. Сеземан, человек категоричных суждений, слишком часто основанных на субъективных пристрастиях и антипатиях, все же отдает должное Марине Ивановне, вспоминая ее чтение на этих домашних вечерах. В такие часы, пишет Сеземан, «наступали моменты, когда даже не чрезмерно чуткому мальчишке открывалось в Марине Ивановне такое, что решительно отличало ее от каждого из нас. <…> Она сидела на краю тахты так прямо, как только умели сидеть бывшие воспитанницы пансионов и институтов благородных девиц. Вся она была как бы выполнена в серых тонах: коротко стриженные волосы, лицо, папиросный дым, платье и даже тяжелые серебряные запястья — все было серым. Сами стихи меня смущали, слишком они были не похожи на те, которые мне нравились и которые мне так часто читала моя мать. А в верности своего поэтического вкуса я нисколько не сомневался. Но то, как она читала, с каким-то вызовом или даже отчаянием, производило на меня прямо магическое, завораживающее действие, никогда с тех пор мной не испытанное. Всем своим видом, ни на кого не глядя, она как бы утверждала, что за каждый стих она готова ответить жизнью, потому что каждый стих — во всяком случае в эти мгновения — был единственным оправданием ее жизни. Цветаева читала, как на плахе, хоть это и не идеальная позиция для чтения стихов».  Однако был, оказывается, один выезд Цветаевой из Болшева летом 1939 года — тайный.  В Тарусу. Точное время поездки неизвестно, но, скорее всего, то был еще разгар лета. Марина Ивановна одна отправилась в любимые места своего детства не за воспоминаниями. Она непременно хотела узнать хоть что-то конкретное об обстоятельствах ареста Аси, сестры. Ибо Анастасия Цветаева с сыном были увезены на Лубянку именно из Тарусы. Марина разыскала там подругу сестры, Зою Михайловну Цветкову — в ее доме и «взяли» Асю и Андрюшу. Услышала ее тяжкий рассказ. И провела два дня в тех местах, где когда-то ей было по сердцу каждое деревце, каждый поворот дороги…  Софья Клепинина вспоминала, что особое напряжение сгустилось над болшевским домом как раз незадолго до приезда Марины Ивановны и Мура.  Разоблаченная морока - i_018.jpg  *Анастасия Цветаева с сыном Андреем*  И это очень правдоподобно.  Ибо в начале лета тревога не могла не охватить всех, кто имел какое-либо отношение к ВОКСу. Организацию «трясло» уже давно — с того момента, как был снят со своего поста и вскоре посажен на скамью подсудимых нарком внешней торговли СССР Аркадий Розенгольц. Арестован был и председатель ВОКСа писатель Александр Аросев, совсем недавно ездивший вместе с Бухариным в Париж.  Разнообразная деятельность общества включала обслуживание иностранных гостей, приезжавших в СССР, — делегаций и «индивидуалов». Тут часто устраивались приемы, на которых рядом с иностранцами и советскими деятелями разных сфер и рангов всегда толклись журналисты. Переводчики — как, разумеется, и сотрудники НКВД — были здесь постоянными посетителями.  ВОКС был прибежищем многих вернувшихся с чужбины русских: где как не здесь они могли использовать свое чуть ли не единственное преимущество перед другими: хорошее знание французского языка.  Теперь, в июне тридцать девятого, арестовали Нину Мосину — редактора информационного бюллетеня ВОКСа. Она была из бывших эмигрантов, из числа тех, кому помог вернуться на родину Эфрон!  С Мосиной были знакомы и Ариадна, и старший Клепинин, числившийся референтом Восточного отдела ВОКСа, и пасынок Клепинина Алексей Сеземан.  Но обитатели болшевского дома еще не догадываются, насколько опасно для них обвинение, предъявленное арестованной. Ибо обвиняют ее в привлечении на работу в ВОКСе «троцкистских кадров». Понятно, что любой бывший эмигрант наилучшим образом годился под аттестацию такого типа.  Журнал, в котором сотрудничала Ариадна — «Ревю де Моску», — имел с Мосиной самые прямые контакты. А в последние месяцы Ариадна и старший Клепинин как раз усиленно хлопотали об устройстве на работу в редакцию еще одного «кадра»: их приятельницы — Эмилии Литауэр. Она все еще не имела постоянной службы…  Цветаева уже жила в Болшеве, когда стала известна другая новость: 27 июля арестовали еще одного сотрудника ВОКСа — Павла Николаевича Толстого. Он тоже был из числа вернувшихся эмигрантов, тех, с кем во Франции был хорошо знаком Эфрон. Теперь же с ним поддерживали контакт и Ариадна, и Эмилия Литауэр, и Алексей Сеземан — последним двум он давал время от времени переводы для заработка.  Скрыли ли это от Марины Ивановны, оберегая ее от лишних переживаний? Трудно сказать. Хотя знать это было бы важно: насколько с ней теперь были откровенны и муж и друзья мужа?  Бесспорно другое: все эти новости должны были восприниматься Клепиниными и Эфроном не иначе как приближающиеся шаги Командора.  7  Как оценивали на болшевской даче происходящее вокруг?  Насколько расстались с иллюзиями, вывезенными из эмигрантского далека, — о стране социализма и о великом эксперименте? Насколько обольщались еще надеждами? Теперь об этом уже можно сказать с достаточной уверенностью. Свидетельствуют страшные документы эпохи: протоколы допросов. Ибо *шестеро* из тех, кого видела и слышала Марина Ивановна этим летом под соснами просторного дачного участка, или на террасе дома, или у камина в гостиной, спустя всего три-четыре месяца будут давать показания в кабинетах следователей НКВД.  Приходится, конечно, постоянно иметь в виду принужденность их признаний, возможность выдумок — того, что нельзя даже назвать клеветой, памятуя об условиях, в какие попадали узники советских тюрем. Но все же. Сравнивая показания шестерых, их совпадения и расхождения, соотнося с тем, что из письменных и устных воспоминаний узнаёшь о личности этих людей, все-таки можно отделить сочиненное от реального. И потому теперь уже есть какая-никакая возможность ответить на вопросы, которые еще совсем недавно оставались без ответа.  Помогают в этом и изданные в 2004 году дневники сына Цветаевой.  Вчитываясь в них, уже можно видеть, что процесс осознания реальности у обитателей и гостей болшевского дома шел разными темпами. Наиболее энергично освобождались от заблуждений супруги Клепинины. Нина Николаевна и Николай Андреевич не стесняются говорить о том, что эксплуатация человека вовсе не исчезла, а сталинская конституция — фикция, с которой никто не считается. Они говорят и о низком уровне жизни в стране, о нищенской зарплате за адский труд, о безграмотности и бескультурии советских редакторов журналов и газет, о нелепостях цензурных установок. И о разгуле репрессий. О том, что все друг друга теперь боятся, не на кого опереться и ни в ком нельзя быть уверенным. И что в НКВД все пересажали друг друга…  Сергей Яковлевич и Ариадна не разделяют столь резкой позиции своих недавних сподвижников. Пыльца с крылышек надежд у них еще не облетела. Они спорят с Клепиниными и гораздо более цепко держатся за иллюзии, вывезенные из Франции. Они отказываются верить в *неправдоподобное зло*, уже открыто правившее великой державой. Поверить и в самом деле было трудно. Изощренность и глобальный размах сталинской дьяволиады очевиден нам, потомкам. И только этим можно объяснить упорное непонимание советского кошмара журналистами, писателями, учеными Запада, приезжавшими в СССР или издали следившими за развитием событий.  Младшие — Мур и Митя — помалкивают, но вслушиваются в эти перебранки. И спустя год будут ссориться друг с другом, отыскивая виновных в том, что вскоре случилось в Болшеве. |

9

|  |
| --- |
| Николай Андреевич все чаще выпивает. И теперь ему уже хватает одной рюмки, чтобы потерять контроль над собой. И вот, когда контроль потерян, этот мягкий умница и душевно тонкий человек позволяет себе самые безоглядные высказывания.  Он попросту зло матерится по адресу высших властей и порядков в стране.  Вспоминала ли теперь Нина Николаевна разговор со своими родителями в середине тридцатых годов, когда те приезжали из СССР в Париж на короткое время? Как ужаснулись они, услышав о намерении дочери вернуться с семьей на родину! Как пытались предупредить ее относительно нараставшей в стране волны арестов — и как в ответ весело и упрямо дочь, Нина Николаевна, отвергала все предостережения.  — Детей хоть пожалейте! — услышала она тогда от матери. Но отмахнулась и от этого.  Вернувшись и довольно скоро поняв промашку, Нина Николаевна осталась верна себе: она и на родине — до поры до времени — пыталась жить не по чужой указке.  Как и другим сотрудникам зарубежных советских спецслужб, ей нельзя было выезжать из Москвы без позволения высокого начальства. Но она ездила — и, кажется, не однажды — в Ленинград: повидаться с родней и друзьями. Не полагалось переписываться с заграницей — она делала это, используя любую оказию. Запрещено было говорить непосвященным о своих связях с НКВД (это называлось «расшифровать себя») — Клепинины и с этим запретом мало считались.  Вся их молодость прошла в свободной стране — чужой и неблагополучной, но свободной Франции, — и им была абсолютно непонятна психология тех, кто здесь, в родных краях, уже двадцать с лишним лет подряд, год за годом, в страхе за себя и своих ближних, отвыкал от свободы, внешней и внутренней.  И уж у себя-то дома, в своем кругу, Клепинины тем более не оглядываются, не осторожничают. Они говорят все, что им приходит в голову. В те годы можно было еще не бояться «ушей» в стенах и потолках, жучков-микрофончиков, которые загнали — спустя четверть века — советского интеллигента на кухню или в ванную. Туда, где беседа надежно заглушалась шумом радио или льющейся потоком воды.  На болшевской даче говорили друг с другом без всяких помех.  Как вскоре выяснилось, и это было неблагоразумно.  Ибо есть устрашающая подробность в показаниях арестованных.  8  Всякий, кто приезжал в Болшево из Москвы, вез с собой ворох свежих газет и журналов. Читали их здесь с въедливой пристальностью, хотя трудно представить себе что-нибудь менее похожее на реальную жизнь, чем советские газеты конца тридцатых годов. Если же все-таки вообразить себе, что некий отдаленный потомок попробует довериться этим страницам, первым его простодушным выводом будет тот, что Страна Советов в лето 1939 года жила постоянным ожиданием очередного небывалого праздника. Или небывалого свершения.  Поддержание в своих читателях перманентно приподнятого градуса существования, похоже, представлялось задачей номер один редакторам всех без исключения советских газет.  Они писали о великих стройках или — в крайнем случае — о великих замыслах. Кружили головы сообщениями о сверхдальних полетах летчиков, о завершении строительства Большого Ферганского канала. Подробнейшим образом обсуждали поправки к проекту Дворца Советов. Грандиозное сооружение предполагалось увенчать стометровой статуей Владимира Ильича. Президент Академии архитектуры Веснин произносил по этому поводу патриотические речи. Архитектор Иофан рассуждал о создании особого «советского стиля» в архитектуре.  20 июля состоялся помпезный, как всегда, физкультурный парад, и даже генеральная его репетиция подробно освещалась прессой. В этот год репетиция началась на Красной площади 16 июля в три часа утра — с оркестром и со всей роскошью оформления! Среди прочих выдумок на этот раз был футбольный мяч высотой с двухэтажный дом. Он катился по Красной площади, а на его маковке непонятным образом держалась живописная пирамида спортсменов, преданно вперившихся в трибуны.  В восторженный отклик «Известий» неожиданно вторглись воинственно-агрессивные ноты. «Окрыленные счастьем дочери и сыновья великого советского народа, — надрывно вещал корреспондент, — напоминают, что они умеют не только работать и отдыхать, но готовы сокрушить любого врага, который вздумает посягнуть на нашу любимую родину…»  Чуть позже, в августе, в День авиации, в Тушине был разыгран другой мощный спектакль — и далеко не все поняли, что то была инсценировка: бомбардировщик бросал бомбы на некий дальний объект, где вспыхивало всамделишное пламя, черными тучами дыма закрывавшее горизонт.  Приближалось долгожданное открытие грандиозной Сельскохозяйственной выставки. Из номера в номер «Правда» и «Известия» помещали фоторепортажи о павильонах разных республик. На фотографии узбекского павильона сельскохозяйственные экспонаты затмевала монументальная скульптура: Ленин и Сталин сердечно беседуют, сидя рядышком на скамейке.  Праздник торжественного открытия Выставки был назначен на 1 августа. Этот день стал неким ликующим центром лета.  Бывшая Сухаревка, где двадцать лет назад бурлила знаменитая толкучка и молодая Цветаева выменивала шило на швайку, чтобы прокормить двух своих девочек, — была переименована в Колхозную площадь. Здесь и состоялся всенародный праздник.  Около двухсот флагов развевались над главным павильоном Выставки, где были установлены трибуны. Берия и Вышинский вместе с другими вождями взирали на организованно пришедшие массы.  Открытие состоялось, начались будни. Но газеты ежедневно заполнялись радостными сообщениями о прибытии на выставку многочисленных делегаций со всех краев и областей огромной страны. Август стоял на дворе — самая страда уборки урожая. И все же тысячи посланцев из сельских районов страны продолжали высаживаться из вагонов на столичных вокзалах — и газеты приглашали своих читателей радоваться по этому замечательному поводу.  На первой странице августовских «Известий» Алексей Толстой с художественным присвистом пел свой дифирамб советской отчизне, скромно озаглавив его «Фундамент счастья»: «Некогда нищая Россия вынеслась далеко вперед самых передовых стран… За плугом, глубоко вспахивающим исторические целины коммунизма, шел товарищ Сталин, партия и правительство СССР, опираясь на разум и творческие силы народов одиннадцати советских республик. И одушевленные построением изобильного, счастливого нового мира, они построили его».  Так утверждал писатель, заслуги которого перед отечественной литературой были вознаграждены открытием особого личного счета в Государственном банке. Он продолжал, пьянея от собственного энтузиазма: «На этой выставке колхозник и колхозница, подбоченясь, смело могут сказать: “Ну, как вы там — за рубежом, а вы чем за эти годы похвастаетесь?” Хвастаться за рубежом как будто и нечем…»  И вот 24 августа на первых полосах всех газет появились крупные фотографии: довольные лица Сталина и Молотова рядом с Риббентропом и Гауссом. Пресса и радио принесли известие о событии, которое, как сказали бы еще вчера, потрясло все прогрессивное человечество.  Страна, на которую только что не молились антифашисты всех континентов как на несокрушимый заслон германской агрессии, заключила с Гитлером Пакт о ненападении.  Через два дня, прервав переговоры, Москву покинули военные миссии Англии и Франции.  Еще через день внеочередная сессия Верховного Совета ратифицировала Пакт и — одновременно — приняла закон о всеобщей воинской повинности. В зале, как сообщали газеты, «аплодисменты достигают стихийной вихревой силы при появлении товарища Сталина»…  Ровно через неделю станет известно о начале массированного наступления немецких войск в Польше. Информация в советской печати теперь будет подаваться с явным сочувствием к агрессору. Читателю предлагалось поверить в то, что поляки виноваты сами: не идут ни на какие уступки, вынуждая гитлеровцев на военные действия! |

10

|  |
| --- |
| Еще было не до конца очевидно то, в чем пришлось убедиться в самом ближайшем будущем: началась Вторая мировая война.  Война, о возможности которой Марина Цветаева с каким-то вещим ужасом напряженно думала еще в последние месяцы своей жизни в Париже…  Как отнеслись к заключению Пакта обитатели болшевского дома? Догадаться несложно. Ибо если политической дальновидностью похвастаться они не могли, то уж ненависть к фашизму разделяли со всей «левой» европейской интеллигенцией. Им трудно было — до поры до времени — придумать не только оправдание, но даже прагматическое объяснение этому шагу советского правительства. И только некоторое время спустя, когда вдруг возникла острая жизненная необходимость «освободить» Западную Украину и Западную Белоруссию от гнета польских панов и прочих поработителей, смысл происшедшего стал яснее.  Но это произойдет позже.  Косвенным свидетельством отношения болшевцев к «замирению» с гитлеровским режимом окажутся рисунки, которыми — через месяц-другой — будет восхищать своих одноклассников Георгий Эфрон. То были яркие и злые антифашистские шаржи. Мур рисовал их без устали, дома и в школе, раздавая всем, кто ни попросит.  *Глава 2*  Аресты  1  Итак, 23 августа заключен Пакт с гитлеровской Германией.  А 27 августа рано утром в Болшеве была арестована Ариадна.  Ждали чего угодно, но не этого.  Аля приехала накануне вместе с Гуревичем. И он остался ночевать, как уже не раз бывало. Год спустя Цветаева кратко записала в своей тетрадке события того страшного утра.  Еще не кончилась ночь, когда с улицы настойчиво постучали: милиция! проверка паспортов! Открыла дверь Марина Ивановна. Трое в штатском в сопровождении коменданта спросили Ариадну. Цветаева проводила непрошеных гостей в комнату дочери. Аля, проснувшись, протянула паспорт. И, после его осмотра: «А теперь мы будем делать обыск!» *«Постепенно* понимаю, — записывала Цветаева. — Аля — веселая, держится браво. Отшучивается <…> — Где ваш альбом? — Какой альбом? — А с фотокарточками. — У меня нет альбома… — У каждой барышни должен быть альбом!»  Искали что-то под кроватью, за чемоданами, отовсюду торчали подошвы ботинок. Бегло просматривали книги, вырывая первые страницы с надписями. Проснувшийся Мур, одевшись, молча наблюдал за происходящим. Наконец, произнесено: «Вы арестованы». Клепинина принесла чай, потом одеяло — вместо шали. Наспех собрала теплую одежду и Цветаева. «Аля уходит, не прощаясь! Я — Что ж ты, Аля, так, ни с кем не простившись? Она, в слезах, через плечо — отмахивается. Комендант (старик, с добротой) — Так — лучше. Долгие проводы — лишние слезы…»  Не было еще и девяти утра, когда гости уехали, увозя с собой Ариадну.  В те дни в болшевском доме привычно гостила Миля Литауэр. Сотрудники Лубянки, проводившие обыск, спросили документы у гостей — Гуревича и Литауэр. Записали в протокол имена, данные прописки, место службы. Для Эмилии это оказалось роковым. Несколькими часами позже снова подъехала энкаведешная машина со срочно изготовленным ордером на арест, — увезли и Литауэр. Ариадна еще увидит свободу — для Эмилии это утро оказалось последним на воле.  Когда вечером этого страшного дня в Болшево примчалась Нина Гордон (ей сообщил о происшедшем вернувшийся в Москву Гуревич), она застала на эфроновской половине дома мертвую тишину.  «Терраса была пуста. Марина Ивановна и Сергей Яковлевич сидели в комнате. Внешне и она, и он были спокойны, только плотно сжатые губы да глаза выдавали запрятанную боль. Я долго пробыла там. Говорили мало. Обедали. Потом Марина Ивановна собралась гладить. Я сказала: “Дайте я поглажу, я люблю гладить”. Она посмотрела долгим отсутствующим взглядом, потом сказала: “Спасибо, погладьте” и, помолчав, добавила: “Аля тоже любила гладить”.  Я стояла и гладила, молча и тихо глотая все время подступавший к горлу комок, а Сергей Яковлевич все сидел и сидел на постели и неотрывно глядел на стол. Его глаза, огромные, застывшие, забыть невозможно…»  В ближайшие же дни больной Эфрон уехал хлопотать в Москву. Вряд ли ему удалось попасть на прием к кому-нибудь достаточно ответственному. У него не было здесь «важных связей». Все отмахивались от таких просьб и вопросов — их были сотни. По свидетельству Клепинина, Сергей Яковлевич пребывал в эти дни в состоянии глубокого отчаяния. Теперь он уверен был и в собственном аресте.  И все-таки написал письмо на имя Наркома внутренних дел. Он ручался за политическую благонадежность дочери и Эмилии Литауэр. Как и следовало ожидать, никакого действия письмо не возымело. Вряд ли вообще был какой-нибудь ответ. Но письмо дошло до адресата — Эфрону припомнят потом его текст, когда он сам уже будет в застенках Лубянки.  С некоторым запозданием Мур начал в сентябре ходить в болшевскую школу. Он сразу обратил на себя внимание, так что потом его легко вспоминали соученики, когда почти через полвека в Болшеве стали разыскивать все возможные сведения о Цветаевой и ее семье. Мальчик был красив, высок и доброжелателен. Но прежде всего его выделяла среди других необычная одежда. Он ходил в странных коротких брюках, застегивающихся на пуговички под коленками, в ботинках на толстой подошве, курточке, снабженной молниями где только можно. Внешняя необычность соединялась в нем с общительностью, раскованностью. Мур вовсе не кичился своей непохожестью на остальных, не грешил высокомерием, он был открыт и разговорчив. А еще его выделял среди других отличный немецкий язык. И талант рисовальщика!  Есть одна странная подробность в рассказах его однокашников: они говорят, что Мур охотно рассказывал об Испании, так что у многих создалось впечатление, что он сам там побывал. Фантазии? Или осознанное участие мальчика в версии, придуманной для отца «органами»? Но может быть, отец и в самом деле однажды взял сына с собой в тайную «деловую» поездку?  Ходить в школу надо было через лес, и совместная эта дорога — туда и обратно — успела расположить к Муру попутчиков. Хотя он проучился-то там всего два месяца. Разумеется, никто тогда не имел ни малейшего понятия, кто его мать и кто отец.  Но на их участке однокашники никогда не появлялись.  Разоблаченная морока - i_019.jpg  *Атака старого дьявола. Рисунок Мура. 1939 г.*  Младшие обитатели дачи имели строжайшее указание Нины Николаевны: в гости никого не водить и самим ни к кому не ходить тоже. Они это легко, без лишних вопросов, усвоили, — им даже, пожалуй, нравилось, что они особые, не такие, как все. Поселковые дети тоже это поняли и не совались к «заграничным».  Только однажды мальчик из ближней, «энкавэдэшной» же дачи, скучая, попробовал было заговорить с Муром и Митей, болтавшими по-французски на какой-то ближней опушке. Мальчик сам был из таких же и французский знал. Но не тут-то было! Надменные мальчишки проигнорировали чужака. А он, Леонид Шапиро, много лет спустя вспомнил этот эпизод. Тем более что потом он увидел — так случилось — их дачу опустевшей, со следами поспешного бегства.  Об Але долго не было никаких сведений. Не удавалось переслать ей даже передач: первую приняли от Марины Ивановны только в декабре.  В болшевском доме поселилась особая пустынная тишина.  Подолгу жил теперь в Москве Николай Андреевич Клепинин — в гостинице «Балчуг» у него был постоянный номер. Часто ездила в столицу Нина Николаевна, навещавшая сына в больнице.  Холодало. Все чаще шли дожди и дули осенние ветра. Между тем теплая одежда Марины Ивановны и Мура лежала в их багаже, прибывшем из Парижа еще в начале августа. Багаж застрял на таможне. Сначала из-за отсутствия у Цветаевой советского паспорта, затем препятствием стало то, что адресован был багаж на имя Али.  Гости уже не приезжали на прокаженную дачу. |

11

|  |
| --- |
| Некого стало ждать из Москвы в конце рабочей шестидневки.  Видимо, к этому времени относится зрительно четкое воспоминание-зарисовка С. Н. Клепининой-Львовой: «Гостиная с окнами на железную дорогу; у одного из окон стоит Марина Ивановна в характерной для нее позе: сложив руки на груди (с папиросой в правой) и даже чуть обхватив себя за плечи руками, словно поеживаясь; в доме тишина, видимо, никого, кроме нас двоих, нет (это случалось нередко, ибо я не помню, чтобы Марина Ивановна уезжала из дому, в отличие от остальных взрослых). Итак, тишина, сумерки, свет в комнате еще не зажжен, камин тоже не горит: Марина Ивановна стоит у окна вполоборота — я на фоне стекла вижу ее профиль, — но смотрит она в окно. Что-то очень сиротливое, холодное, неуютное. Профиль ее <…> был прекрасен: тонкий, одухотворенный, какой-то летящий…»  18 сентября радио передало речь наркома иностранных дел Молотова. Население Советского Союза оповещалось о переходе войсками Красной армии польской границы, чтобы «взять под защиту жизнь и имущество» братьев-славян в Западной Украине и Белоруссии. Началась эпопея «освобождения».  И уже через день газеты и радио сообщали о ликовании освобождаемых. Без ликования — или проклятий! — жизнь советского гражданина представлялась власть предержащим неполноценной.  «Чудесные перемены», «Жизнь забила ключом», «Львов ликует», — сообщали газетные заголовки.  Как было заведено, активно подключались к очередной кампании деятели искусства.  В Западную Украину отправился знаменитый танцевальный ансамбль Моисеева. На газетных страницах публиковали стихотворные приветствия происходящему Максим Рыльский, Перец Маркиш, Елена Рывина. Стихи были полны пафоса, звона — и такого мертвящего холода, что ни одно из них теперь просто невозможно дочитать до конца.  Тем временем разгоралась война в Европе.  Карта военных действий перекочевала в газетах с четвертой полосы на вторую. Масштаб карты все более укрупнялся. 4 октября в одной из центральных советских газет Цветаева могла прочесть леденящее душу сообщение: шедевры Лувра упаковывались для эвакуации из Парижа…  И вот наступило 10 октября. Третий арест на болшевской даче: теперь после обыска увезли на Лубянку Сергея Яковлевича.  На протоколе обыска поставила свою подпись Марина Цветаева.  И снова все произошло на глазах четырнадцатилетнего Георгия. Его состояние было ужасным — об этом рассказывала все та же Софья Николаевна.  Незачем пытаться воссоздать чувства Цветаевой. Можно себе представить только, что ее отчаяние во сто крат усугублялось отъединенностью от тех, кого она могла бы назвать близкими сердцу друзьями…  2  Но где же все это время Борис Леонидович Пастернак? Неужели давняя нежность и дружба бесследно исчезли к тридцать девятому году и возвращение Цветаевой не пробудило желания немедленно увидеться?  Разоблаченная морока - i_020.jpg  *Борис Пастернак с сыном Леней*  Об этом мало что известно. Но среди гостей болшевской дачи ни в чьих воспоминаниях Пастернак не назван.  О приезде Марины Ивановны он не мог не узнать сразу. Ибо еще со времени своего пребывания в Париже на Антифашистском конгрессе Борис Леонидович поддерживал теплые отношения с Ариадной Эфрон. Мягкой опекой двадцатидвухлетняя Аля старалась помочь тогда ему справиться с тяжелейшей депрессией, которую Пастернак привез с собой из России и мучительно пытался преодолеть.  С тех пор как весной тридцать седьмого года Ариадна приехала в Москву, они виделись не слишком часто. Но как раз в июне 1939-го — то было незадолго до ареста Мейерхольда — Пастернак пришел к Але в редакцию журнала. И они отправились на скамейку бульвара, чтобы поговорить вдали от чужих ушей.  (Соотнесенность с датой ареста Мейерхольда я хорошо помню из моего разговора с Ариадной Сергеевной в начале семидесятых годов. Это важно потому, что означает: Борис Леонидович узнал сразу о приезде Марины Ивановны. Как и о том, что она будет жить в Болшеве.)  Весь июнь Пастернак провел в Москве. Он прервал работу над переводом «Гамлета», чтобы срочно перевести (видимо, то был конкретный заказ) несколько стихотворений венгерского поэта Петефи. В Переделкине его ждала жена с детьми, среди которых был полуторагодовалый Ленечка. Пастернак приедет к ним в самом начале июля.  Переделкино и Болшево — это совсем разные направления от Москвы, так что в июле и августе связь между поэтами была бы затруднительна.  Когда же все-таки они увиделись впервые? Точные сведения об этом отсутствуют.  Критику Тарасенкову Пастернак скажет о приезде Цветаевой в начале ноября 1939 года, и этот человек, постоянно вращавшийся в литературных кругах, выслушает сообщение с изумлением. Спустя пять месяцев с момента приезда Цветаевой на родину об этом никто не знает! В книге Белкиной «Скрещение судеб. Попытка Цветаевой, двух последних лет ее жизни. Попытка времени, людей, обстоятельств» приведена дневниковая запись Тарасенкова, где, среди прочего, — фраза Пастернака: «Она и у меня была всего раз…»  Это может означать, что Цветаева сама приезжала к Борису Леонидовичу. Когда же? В тарасенковской записи — ни намека, ни слова об арестованной дочери или арестованном муже. Может быть, они увиделись еще в июне, до отъезда Пастернака из Москвы в Переделкино?  Однако в других, вызывающих доверие, воспоминаниях (Е. Б. Тагера) отражены колебания Бориса Леонидовича: ехать или не ехать к Цветаевой. И как бы речь идет о том, чтобы увидеться впервые. А вместе с тем Тагер ссылается при этом на черновик *осеннего* письма своей жены.  Из текста этого черновика следует, что Пастернаку кое-кто из писательской братии ехать к Марине Ивановне не советовал: опасно! слишком опасно!  Что ж, действительно, это было небезопасно. Но ездил же в Болшево Дмитрий Журавлев, ничей здесь не родственник? Бывала и подруга Ариадны Нина Гордон, у которой уже был арестован муж. А давняя подруга Клепининой Лидия Максимовна Сегаль-Бродская гостила здесь с мужем постоянно.  Шли на риск. И знали, что ни от чего не застрахованы.  Можно, впрочем, предположить нечто романтически конспиративное. Борису Леонидовичу, пока он жил в Москве, не столь уж сложно было приехать в Болшево. Они могли бы с Мариной Ивановной предварительно сговориться, скажем, по телефону или через посредничество Ариадны, постоянно курсировавшей между Болшево и Москвой. Встретиться на пригородном перроне и, никому из обитателей болшевского дома не докладываясь, хоть целый день прогулять по окрестным лесным дорожкам.  Реально. Но, увы, у нас нет этому никаких документальных подтверждений.  Надо еще иметь в виду, что вокруг Пастернака в последние месяцы — сплошные аресты. Вблизи и вдали. Летом тридцать седьмого года кончает самоубийством в Грузии — предвосхищая арест — друг Бориса Леонидовича поэт Паоло Яшвили. В октябре того же года в Тбилиси репрессирован другой его близкий друг — Тициан Табидзе. К лету тридцать девятого в одном только подмосковном поселке Переделкино арестовано более двадцати писателей. Среди них — Борис Пильняк, с которым Цветаева успела подружиться во время его наездов в Париж в начале тридцатых годов, Исаак Бабель, с которым она тоже была знакома по Франции. В мае тридцать восьмого уже во второй раз арестован Осип Мандельштам. Между тем еще за три года до того Пастернак пытался вступиться за него через Бухарина — к тому времени и относится известный телефонный звонок Сталина в пастернаковскую квартиру. В тридцать пятом Борис Леонидович помогал Ахматовой составить письмо на имя Сталина в защиту ее мужа и сына. И сам отнес тогда это письмо к кремлевским воротам, в специальный — для таких посланий — ящик.  Поведение Пастернака во всех этих ситуациях — безукоризненно. Так что остаются два объяснения: либо он долгое время не знает об арестах на болшевской даче — либо просто мы не знаем (ибо не осталось свидетельств) о его встречах с Цветаевой до начала ноября. |

12

И все-таки очень похоже на то, что в страшные осенние месяцы 1939 года — после ареста Сергея Яковлевича — рядом с Мариной Ивановной не оказалось ни одного по-настоящему близкого ей человека.

3

Тем временем в кабинетах следователей НКВД все более отчетливо формируются контуры очередного «дела», участниками которого должны стать обитатели и гости болшевского дома.

Отметим в протоколах допросов один неожиданный аспект. Тот, который был ранее назван «устрашающей подробностью».

Арестованных настойчиво спрашивали, в частности, друг о друге и о темах разговоров на даче в Болшеве. Естественно, что все идет под грубейшим и — скорее всего — физическим нажимом. Следствию требуются рассказы отнюдь не про болезни или погоду. Нужны «антисоветские высказывания».

|  |
| --- |
| Первой «раскалывают» Ариадну, которая первой была и арестована. Она начинает «признаваться» через месяц после начала допросов. И, как это обычно бывает в таких случаях, чем больше она говорит, тем большего от нее требуют. Добившись мало-мальских конкретностей, ими шантажируют других, вынуждая что-либо добавлять и уточнять.  Веревочка вьется дальше и обрастает понемногу гроздью «признаний», становящихся в конце концов весомой и грозной уликой для обвинения в «антисоветских сборищах».  И когда это преподносят допрашиваемому, тот пытается защититься.  Но как!  Тут-то и возникает шок у читающего протоколы допросов. Шок, от которого нелегко оправиться.  «Сама я антисоветских разговоров не вела, — записано в показаниях Ариадны Эфрон, — и ставила о них в известность сотрудников НКВД, с которыми поддерживала связь».  Ставила в известность? То есть как же это? Может быть, тут всего лишь самооговор, попытка защититься в невыносимых условиях?  Но сопоставим эту фразу с тем, что Ариадна Сергеевна рассказывает следователю: перед отъездом из Парижа ей, руководившей молодежной секцией в парижском «Союзе возвращения на родину», было предписано советским полпредством встречаться с некоей сотрудницей НКВД Зинаидой Степановой. И Аля с этой Степановой регулярно встречалась! Она рассказывает теперь, что обычно это происходило в кафе «Националь». И что же: во время этих встреч дочь Цветаевой «информирует» («отчитывается», «сообщает» — кто знает, как это называлось!), в том числе и о том, кто, что и как говорил в ее ближайшем окружении?.. В конце тридцать седьмого Степанова была «отстранена от работы» (видимо, арестована). Ее тут же заменили неким «Иваном Ивановичем», а затем «Николаем Кузьмичем»… Правда, Клепинин на допросах утверждал, что люди эти предназначались для разрешения прежде всего бытовых вопросов… Тогда почему же Ариадна просила вызвать к ней Зинаиду Степанову на очную ставку?  Но вот и Сергея Яковлевича на одном из допросов уличают в неискренности и укрывательстве преступных высказываний. Ему приводят показания Павла Николаевича Толстого, а потом и дочери, а еще позже и остальных — и требуют подтвердить, дополнить, пояснить.  Что же говорит в свое оправдание Эфрон, сдержаннее и мужественнее многих и многих державшийся на допросах? «Я сообщал об этом устно, — отвечает он. — Я предупреждал, что не доверяю Клепининым». Вот так.  А что говорит арестованный Алексей Сеземан?  В ответ на обвинения в подозрительных связях с финским посольством он сообщит, что уже писал в свое время «рапорт» об этом в НКВД.  Тогда случился у него некий разговор с финским чиновником — совершенно невинный! — и законопослушный бывший эмигрант сам на себя строчит докладную. Это Чехов еще мог смеяться, сочиняя веселый образчик «сверхбдительности»: самого себя отвести в участок. В советское время это уже не смешно.  А Эмилия Литауэр расскажет на допросах о том, как она впервые познакомилась с известным графом Игнатьевым еще во Франции, где тот служил в советском торгпредстве. Затем они встречались уже в СССР. И Эмилия бывала в доме Игнатьева на правах старой знакомой. Там, по ее словам, она молчала, слушала и ужасалась суждениям графа-комбрига о том, что происходит в стране. В частности, суждениям о «деле» Тухачевского и других «красных командиров», расстрелянных в тридцать седьмом. Игнатьев решительно не одобрял этих арестов, ослаблявших, по его словам, Советскую армию. «Но я писала об этом рапорт!» — оправдывается Литауэр перед следователем.  Разоблаченная морока - i_021.jpg  *Страница протокола допроса Эмилии Литауэр*  А Клепинин помогал Эмилии эти «рапорты» составлять! И отвозил их — «куда надо»!  Что же это такое? Как это возможно?  Упаси бог бросать запоздалый камень благородного негодования в несчастных узников Лубянки! Совсем не в том дело. Но как все-таки такое оказалось возможным — еще на воле?..  Никакими особенными монстрами обитатели болшевского дома не были. В том-то и дело, в том-то и горе, в том-то и загадка — нравственная, психологическая, — что то были люди не просто бескорыстные, самоотверженные и искренне обеспокоенные всеобщим благом, но еще и глубоко религиозные и — в собственных глазах, как и в глазах окружающих — щепетильно честные.  Понять, что же с ними происходило, значило бы многое понять в нашей отечественной истории тридцатых годов.  Это совершенно невозможно вне исторического контекста.  Между тем именно так подходит к заблуждениям своих родителей мемуарист Дмитрий Сеземан. И потому его оценки предельно просты: «платные агенты» — вот весь его короткий приговор, даром что в числе категорически заклейменных собственная мать. Однако торопливая готовность к осуждению только закрывает путь к различению корней добра и зла, к уяснению причин и следствий. А без этого не поставишь диагноза. И значит, не излечишь болезнь — в любой момент она вспыхнет с новой силой.  Эпидемия доносительства широко разлилась в Стране Советов во второй половине тридцатых годов. И часто она носит внешне вполне пристойные формы: кто же сам назовет это доносом! Не донос, всего лишь «информация»!  Та же эпидемия, как известно, бушевала и в другой стране — Германии. Здесь и там созданы были условия, в которых вирус этой заразы размножался в благоприятнейшей питательной среде. Понятно, кому это было выгодно, незачем об этом долго распространяться.  Загадочнее другая сторона вопроса: каковы те особенности личности, при которых вирус беспрепятственно проникает в человека, неузнаваемо искажая взращенные годами нравственные ценности? И почему у других даже не возникает искушения пойти той же дорогой? Чем защищены эти последние от общей заразы? Где, в чем иммунитет?  Двадцать лет назад, в один из вечеров 1919 года, в революционной Москве, склонившись над дневником, двадцатисемилетняя Марина с пером в руке неторопливо размышляла на тему, которая иному показалась бы не заслуживающей слишком серьезного внимания. Перебирая оттенки, записывая всякий едва мелькнувший вариант контекста, она снова и снова вслушивалась в смысл самых простых, самых обиходных слов: «хочу» и «могу», «не хочу» и «не могу».  Она будто чувствовала, что наткнулась на что-то совсем не пустячное, на нечто, соприкасающееся с самой природой человека, с самыми *глубинами* этой природы, а может быть, — вопрос термина! — с самыми *высотами* духовного его мира.  «Мое “не могу” — некий природный предел, не только мое, всякое… “Не могу” священнее “не хочу”. “Не могу” — это все переборотые «не хочу», все исправленные попытки хотеть, — это последний итог. Мое “не могу” — это меньше всего немощь. Больше того: это моя главная мощь. Значит, есть что-то во мне, что вопреки всем моим хотениям (над собой насилиям!) все-таки не хочет…  Корни “не могу” глубже, чем можно учесть. <…> Я говорю об исконном не могу, о смертном не могу, о том не могу, ради которого даешь себя на части рвать, о кротком не могу.  Утверждаю: “не могу”, а не “не-хочу” создает героев!»  Настоящие истоки нашего выбора — в глубинах крови и духа, считала молодая Цветаева. Состав крови определен от рождения; одному человеку нечего и перебарывать — голос природы ему всегда внятно слышен, — у другого этой подсказки нет. |

13

|  |
| --- |
| Но пространство духа формирует сам человек. «Я *не могу* этого сделать, даже если весь мир вокруг делает так и это никому не кажется зазорным». Чтобы так чувствовать, нужна *порода*, которую исказить невозможно.  И еще. Случайно ли, что нравственная ржа так часто поражала людей из породы «борцов за социальную справедливость»? Не потому ли, что они принимали на веру утверждение о примате общественного интереса над личным?  Но как часто доносителями становились и те, кто пекся как раз о своем сугубо личном благе…  4  В самом начале ноября наступили школьные каникулы, и Нина Николаевна вместе с дочерью уехала в Москву. На Пятницкой, 12, жила ее мать.  Клепинин же — наоборот — появляется в эти дни в болшевском доме. Скорее всего, сострадая Цветаевой, супруги стараются не оставлять ее совсем одну. Запасного жилищного варианта у Марины Ивановны не было: в крошечных комнатках сестры мужа в Мерзляковском переулке жить казалось невозможным.  Разоблаченная морока - i_022.jpg  *Мерзляковский переулок, 16*  *Здесь в квартире 27 Цветаева жила у Е. Я. Эфрон в 1939 г*.  Разоблаченная морока - i_023.jpg  *Комната Елизаветы Эфрон, где жила М. Цветаева с сыном*  И вот, в ночь с 6 на 7 ноября, в канун революционного праздника, арестовывают еще троих «болшевцев».  Клепинину подымают с постели на Пятницкой, ее сына Алексея увозят с Садово-Кудринской, из квартиры его жены.  И третий арест в ту же ночь — снова на болшевской даче.  Тут ордер предъявляют Николаю Андреевичу Клепинину.  Из воспоминаний Нины Павловны Гордон: «Марина глухим голосом рассказывала мне, как приехали его арестовывать, как было страшно на него смотреть, особенно страшно из-за его одиночества. Он был совсем-совсем один, и только собака (помнишь этого боксера с человечьими глазами?) все время ластилась к нему и все прыгала на колени. А он все прижимался к ней, к единственному живому существу, оставшемуся около него, видимо, только в ней одной чувствуя человеческое тепло и любовь…»  Жена Алексея, оставив ребенка у подруги, мчится ранним утром на электричке в Болшево. Она не знает, что Нины Николаевны там нет, и тем более не знает о ее аресте.  Под дождем и снегом, под пронизывающим ветром она добирается до знакомого дома. На участке — пусто. И в ее сегодняшней памяти — странное смещение: ей помнится, будто она увидела голые — без хвои — деревья.  Дом казался вымершим.  Только странный лязгающий звук все повторялся, будто отстукивал, как метроном, последние минуты. Уже позже, возвращаясь, она поняла: это стучали друг о друга раскачиваемые ветром физкультурные кольца, подвешенные между сосен Сергеем Яковлевичем.  Ирина без толку стучала в дверь клепининской террасы. Но дверь отворилась с другой стороны дома — и на пороге появилась Цветаева.  Ветер растрепал ее полуседые волосы, на плечах едва держалось накинутое пальто.  — Ночью арестовали Алешу, — сказала Ирина.  Марина Ивановна перекрестила ее несколько раз, на ней не было лица. Смотреть на нее было страшно.  — Уезжай, деточка, уезжай отсюда скорее. Бог с тобой. От нас рано утром увезли Николая Андреевича.  Она напомнила Ирине безумного пушкинского мельника.  Еще через два дня Цветаева с сыном бежали из Болшева в Москву.  В один из ближайших дней соседский мальчик — тот самый, с которым летом не захотели разговаривать Мур и Митя, — забрел на дачу, удивившись, что давно не слышит здесь никаких голосов. Дверь на террасу была полуоткрыта. Мальчик толкнул ее и вошел внутрь. В комнатах царил беспорядок, на полу валялись книги. Он поднял несколько. Книги были на французском языке. Он не утерпел и унес с собой томики Боккаччо и Вольтера.  *Глава 3*  Лубянка  1  Ранним воскресным утром 27 августа 1939 года Ариадна Эфрон в последний раз спускается с крыльца болшевского дома. Больше никогда она не увидит ни отца, ни мать, ни брата.  Много лет спустя об этом дне вспоминала и сама Ариадна Сергеевна: «…27 августа <…> я в последний раз видела своих близких; на заре того дня мы расстались навсегда; утро было такое ясное и солнечное — два приятных молодых человека в одинаковых «кустюмах» и с одинаково голубыми жандармскими глазами увозили меня в сугубо гражданского вида «эмке» из Болшева в Москву; все мои стояли на пороге дачи и махали мне; у всех были бледные от бессонной ночи лица. Я была уверена, что вернусь дня через три, не позже, что все моментально выяснится, а вместе с тем не могла не плакать, видя в заднее окно машины, как маленькая группа людей, теснившаяся на крылечке дачи, неотвратимо отплывает назад — поворот машины и — все…»  Разоблаченная морока - i_024.jpg  *Памятник Дзержинскому у здания Штаб-квартиры КГБ на Лубянской площади*  Точно то же происходит через полтора месяца — 10 октября: так же, посреди ночи: шум подъезжающей машины, свет фар, прорезающих тьму. На этот раз увезут после обыска и составления протокола Сергея Яковлевича Эфрона. Маршрут прежний: в Москву, на Лубянку. Весной 1941 года Цветаева еще успеет получить от дочери несколько писем — из лагеря в Коми АССР; от мужа — уже никогда, ни строчки.  И вот спустя более чем полвека, благодаря горбачевской перестройке и ходатайству Анастасии Ивановны Цветаевой, я получила возможность прочесть следственные дела Ариадны Сергеевны и Сергея Яковлевича.  И стены страшного здания на Лубянке постепенно начали терять свою непроницаемость. До прозрачности, разумеется, далеко; не только протоколы допросов, но и воспоминания уцелевших никогда не восстановят во всей достоверности того, что там происходило.  И все-таки.  Вот постановление об аресте литературного работника журнала «Revue de Moscou» Ариадны Сергеевны Эфрон — и черная подпись на нем Лаврентия Берии. Черная в самом прямом смысле, ибо сделана жирным черным карандашом. Вот анкета арестованной, заполненная ее собственной рукой. И вот протокол первого допроса, состоявшегося в самый день ареста — 27 августа.  Первый протокол краток — всего несколько строк.  Арестованной предложено рассказать о своей антисоветской деятельности и о сотрудничестве с иностранными разведками. Записан ответ: арестованная ничего подобного за собой не знает. Вопрос повторен в другом варианте — ответ тот же. Протокол оформлен в строгом соответствии с правилами: на нем обозначено время начала и время конца допроса, фамилия следователя, на каждой странице — подпись допрашиваемой.  В 14 часов «диалог» начат, в 17 часов закончен. Три часа. Но чем же они были заполнены? Что осталось за пределами зафиксированных нескольких фраз на бланке протокола? Насколько отражает он реальность?  Мой собственный опыт мне теперь пригодился. Опыт конца пятидесятых годов, когда раз за разом в течение двух месяцев черная «Волга» с несколькими нулями на номерном знаке увозила меня с работы в ленинградский Большой дом на допросы. Этот опыт при всей несравнимости все же помогал мне нынче читать «протокольную» партитуру. Я хорошо помнила, как далеки от идентичности реальные диалоги, звучавшие в комнате следователя, и те, которые фиксировались на бумаге; как часто протокол составлялся уже по окончании «собеседования», вбирая едва ли десятую часть сказанного — и то в формулировках следователя. (Их, вообще говоря, можно исправить, но не всякий это знает и не всякий, даже зная, воспользуется.) В протокол не попадают оскорбительные, а то и издевательские интонации следователя, его провокационное вранье, угрозы, помойные сплетни, выливаемые по адресу твоих друзей и знакомых. И еще — часы и часы, когда допрашиваемого оставляют «подумать хорошенько», не раз и не два уходя пообедать, перекурить, просто заняться другими делами. И вождение по кабинетам разных начальников, если упрямишься, и присоединение к допросу каких-то новых лиц… Ничего этого в правильно оформленных протоколах не будет. И все это в наши, как выражалась Анна Ахматова, «вегетарианские времена». |

14

|  |
| --- |
| Что именно оставалось за кадром, то бишь за протоколом, в конце тридцатых — довообразить трудно, но можно. Рассказы уцелевших и вернувшихся, мемуары бывших репрессированных достаточно подробно воссоздают обстановку, и уже нет, кажется, человека, который считал бы, что там беседуют за чашкой кофе. И все-таки слишком часто эти протокольные листы, то отпечатанные на машинке, то заполненные следователем от руки, казались мне теперь иероглифами, смысл которых могли бы расшифровать только участники «диалога».  Где правда? Насколько это правда? Вся ли правда? Что это — чистосердечная исповедь или продуманная версия? А если вот здесь выдумка, то почему так гладко, почти виртуозно? И почему же вчера — «нет», а послезавтра — «да»? А вот на этой очной ставке — какими они увидели друг друга? Насколько правомерно за каждой возведенной на себя или на других напраслиной видеть «методы физического воздействия»? А может быть, это вовсе и не напраслина?..  Между первым допросом Ариадны Эфрон и вторым проходят две недели. Первый допрос проводил старший следователь лейтенант госбезопасности Николай Михайлович Кузьминов — спустя полтора месяца именно он займется «делом» Сергея Яковлевича Эфрона. Второй допрос и несколько последующих проведет другой следователь — младший лейтенант Алексей Иванович Иванов.  Теперь Ариадну спрашивают о конкретностях: о круге ее знакомых в Париже, о тех, с кем она встречалась по возвращении на родину. Сотрудничала ли она в эмигрантских белогвардейских организациях? С какой целью приехала в СССР? Подтекст последнего вопроса открыто разъяснен: «…нам известно, что вы приехали по заданию иностранных разведок, на службе которых вы состояли…»  — Ни с какой иностранной разведкой я не была связана и приехала только по собственному желанию, — записан ответ в протоколе.  Второй допрос — ночной, он длится уже восемь часов подряд! Начавшись в девять вечера, он завершится в пять утра. Третий начинается на следующий же день, после бессонной ночи, и опять затягивается далеко за полночь. Четвертый — днем следующего же дня. Это — 7, 8, 9 сентября. День перерыва, и далее снова: 11, 13, 14-го.  Пятнадцать лет спустя, в мае 1954 года, после XX съезда партии и осуждения «культа личности Сталина», А. С. Эфрон посылает уже из Туруханска, где она отбывает ссылку так называемых «повторников», заявление на имя Генерального Прокурора СССР Руденко с просьбой о пересмотре дела и об отмене приговора. В заявлении она, в частности, напишет: «Меня избивали резиновыми “дамскими вопросниками” (то есть резиновыми дубинками. — *И. К.*), в течение 20 суток лишали сна, вели круглосуточные “конвейерные” допросы, держали в холодном карцере, раздетую, стоя навытяжку, проводили инсценировки расстрела…» И далее: «Я была вынуждена оговорить себя…» И еще: «Из меня выколотили показания против моего отца…»  Это произойдет ровно через месяц после ареста, 27 сентября того же 1939 года. В этот день Ариадна соглашается подписать «признание».  Иные, гораздо более закаленные, сдавались и быстрее. Из материалов специальных комиссий, созданных у нас в конце восьмидесятых годов для изучения подлинной истории «показательных» политических процессов конца тридцатых годов, известно, например, что маршал Тухачевский «признался» в своих связях с иностранными разведками уже через неделю допросов и пыток; через 33 дня после ареста начал подписывать абсурдные «признания» Г. Л. Пятаков; два месяца и 18 дней понадобились, чтобы сломить Карла Радека…  Под протоколом допроса от 27 сентября стоят подписи Кузьминова и Иванова — двух следователей, которые этот допрос провели. Но еще в одном заявлении, посланном из того же Туруханска 9 марта 1954 года, на этот раз на имя министра внутренних дел СССР Круглова, А. С. Эфрон указывала, что на ее допросах присутствовал — и, видимо, не однажды — один из заместителей Берии. Она узнала его, потому что видела раньше, «на воле», сопровождая больного отца на свидание с этим человеком в одну из московских гостиниц. Его фамилия была то ли грузинской, то ли армянской. На следствии, по словам Ариадны, он постоянно требовал от нее показаний против отца. Однако в протоколах допросов никак не отражено присутствие этого человека. Так же, впрочем, как и участие в них сына Я. М. Свердлова, ставшего следователем НКВД. Между тем, об этом участии Ариадна рассказывала и своей подруге А. А. Шкодиной-Федерольф, с которой вместе отбывала ссылку в Туруханске, и Марии Белкиной, автору книги «Скрещение судеб».  Это обстоятельство должно в очередной раз предостеречь нас от иллюзий идентичности протокольных документов реальной обстановке допросов тех уже давних лет…  Итак, через месяц после ареста Ариадна Эфрон «признается»: она была завербована французской разведкой и заслана в Советский Союз со шпионским заданием.  В основу самооговора положены факты, которые уже фигурировали в ее прежних допросах: их сообщила сама Ариадна. Но теперь она истолковывает их так, как этого хочет следствие.  Она рассказывает о своем знакомстве в Париже в конце 1936 года с неким Полем Мерлем, редактором журнала «Франция — СССР». Мерль предложил молодой журналистке (Ариадна работала тогда в редакции журнала «Наш Союз», выходившего под эгидой парижского «Союза возвращения на родину») написать очерк о жизни в Советском Союзе, по материалам советской печати. Очерк был написан — и привел Мерля в восторг качеством выполненной работы. Последовали новые заказы того же характера. Ариадна писала статьи; они всякий раз принимались с тем же горячим одобрением и щедро оплачивались. Незадолго до отъезда Ариадны в Советский Союз Мерль пригласил ее к себе домой на прощальный ужин.  Он был очень радушен в этот вечер. Разговор касался самых разных тем. Например: знакома ли Ариадна с советским послом Сурицем? А с Виктором Сержем? Что она думает по поводу странных признаний подсудимых на московском процессе, проходившем в начале тридцать седьмого года?  «Так мне стало известно, что Мерль связан с троцкистами», — записано в показаниях Ариадны от 27 сентября.  И здесь и в более поздних записях ее ответов возникает временами страннейшее впечатление чуть ли не насмешки подследственной над допрашивающим — когда на абсурдные вопросы она отвечает откровенным вздором.  Ариадна разыгрывает теперь готовность помогать в «изобличении» других — тех, о ком ее спрашивают. Правда, следователя злят ее слишком общие характеристики, ему нужны конкретные факты «шпионской деятельности». Но понимала ли Аля, что и общих характеристик было достаточно, чтобы переломить хребет судьбы тех, о ком ее спрашивали? Возможно, что до конца не понимала — как не понимала того, что реально грозило ей самой. По свидетельству ее сокамерницы Дины Канель, приведенному в книге Белкиной, обе они, несмотря на весь кошмар происходящего, долго сохраняли легкомысленную надежду на то, что наказание будет достаточно условным: «Так ясна была абсурдность того, что им инкриминировалось, и так они не чувствовали за собой никакой вины, что были уверены: ну максимум, что им могут дать, это ссылку года на три!»  Психология подследственного человека изучена в Учреждении хорошо — надо отдать должное. Мне приходилось спрашивать своих «подельников», спустя много лет, по поводу некоторых их признаний на допросах. Каким принуждением они были вызваны? Речь шла о признаниях, явно опасных для тех, кто еще оставался на свободе. Ответы меня поразили. «Да ведь мне было ясно, что они и так все знают… Чего же туман напускать? Кроме того, не таких уж серьезных вещей это касалось, и я думал: ничего не случится, если я подтвержу…»  «Несерьезные вещи» не так уж редко оборачивались сломанными судьбами. Это уже в наши годы. А в те — физическими страданиями и чаще всего — гибелью.  Еще долго собственный арест представлялся Ариадне нелепой ошибкой, результатом «вредительства», угнездившегося в органах НКВД. Даже в камере и даже в лагере она еще верила, что главные основы справедливейшего строя не затронуты. Уже из «зоны» она будет писать Самуилу Гуревичу о том, что с ней произошло, как о «глупой случайности». «Я не настолько глупа и мелка, чтобы смешивать общее с частным. То, что произошло со мной, — частность, а великое великим и останется…» |

15

|  |
| --- |
| Иронизировать тут неуместно, но не поучителен ли по-своему этот пример «несгибаемости духа», которым мы традиционно привыкли восхищаться? Стойкость, замешанная на слепоте веры… Сплав этих качеств губителен даже для людей, которым трудно отказать и в уме, и в самоотверженном благородстве.  Но вернемся к «признанию», сделанному 27 сентября 1939 года.  На прощальном ужине Поль Мерль предложил Ариадне не прерывать сотрудничество с его журналом и продолжить его из Москвы. А для ускорения пересылки материалов он дал адреса двух французских журналистов, которые в то время находились в Москве.  И об этом Ариадна уже сообщала раньше следствию, но теперь она делает важные добавления. Во-первых, Мерль, оказывается, просил ее писать *об антисоветских настроениях* среди московской интеллигенции! Во-вторых, адреса журналистов уже названы «явками». Ариадна утверждает, что еще тогда ей стало ясно: предлагалось не что иное, как прямое сотрудничество с французской разведкой. Однако она настаивает: ни одного материала она из Москвы Мерлю так и не отправила ни прямо, ни через его «агентов». И все же в ее приговоре позже будет фигурировать как доказанное: «являлась агентом французской разведки».  Сюжет с Мерлем имеет под собой совершенно реальную основу.  И журнал такой существовал, и Поль Мерль вместе с ним. Да и характер материалов в журнале был таков, что естественно возникает предположение о Мерле как о *совсем нашем* человеке. Вполне возможно, что и темы прощального разговора названы здесь верно. И лишь отражено все в нарочито искривленном зеркале.  Следствию брошена кость: хотите играть вот так — пожалуйста.  Но от подследственной не отстают и после ее «признания». Теперь от нее требуют изобличения отца — как требовали и раньше.  И вот в протоколе появляется давно жданная ее мучителями фраза: «Не желая ничего скрывать от следствия, я должна сообщить, что мой отец является агентом французской разведки…»  2  Пять дней спустя следователь Кузьминов составит постановление об избрании меры пресечения (то есть об аресте) С. Я. Эфрона.  И тем же жирным черным карандашом, какой мы видели на аналогичном постановлении, касавшемся дочери, поставлена подпись Берии.  Ариадна Сергеевна утверждала позже, что ее собственный арест нужен был прежде всего для выколачивания сведений, которые скомпрометировали бы ее отца. Возможно. Но то был отнюдь не единственный оговор Эфрона. Еще 7 августа того же 1939 года показания о его «антисоветской и шпионской» деятельности дал Павел Николаевич Толстой. Скорее всего, в распоряжении НКВД и это были не первые «уличающие» показания. Еще раньше Эфрона мог назвать Святополк-Мирский, арестованный в 1937 году, — видный деятель евразийского движения и личный друг Цветаевой и Эфрона; могли назвать его и другие вернувшиеся из Франции и попавшие в застенок НКВД эмигранты. Проследить всю «историю вопроса» по архивам КГБ пока нет возможности.  Бессмысленно искать твердой логики в вакханалии репрессий тех лет. Загадочно другое: упорство, с которым следствие выбивает из тех, кто уже попал в его сети, «обоснования» для своих загодя составленных обвинительных заключений.  Зачем нужно было столь педантично блюсти внешнюю форму судопроизводства, добиваясь подписей арестованных под их «признаниями» в протоколах допросов? Из каких истоков проистекала эта озабоченность соблюдением «правил», вроде того, например, которое требует подписи участников очной ставки около каждой их реплики, зафиксированной в протоколе? Для кого разыгрывался этот спектакль — без зрителей, без свидетелей и с такой жестокостью по отношению к жертвам?!  Вернемся снова к злополучному допросу 27 сентября.  Ариадне приходится аргументировать сказанное о связи отца с французской разведкой. И она ссылается на их задушевные беседы в тридцатые годы. Наиболее «художественно» изложен разговор, который можно отнести по его содержанию (ибо речь идет в нем, в частности, о предстоящем отъезде Ариадны в СССР) к середине тридцатых годов.  «Отец в тот день был болен, — повествует Ариадна, — мы были в доме одни. Он подозвал меня и попросил присесть к нему на кровать. Он сказал, что непоправимо погубил жизнь мне и маме. Я подумала, что он говорит о тяжелой материальной стороне нашей жизни, и стала его утешать. Но он остановил меня. Он сказал (далее я цитирую по протоколу дословно. — *И. К.*): “Ты еще молода, ничего не знаешь и не можешь понять меня. Ты ведь не знаешь и не можешь знать, как мне тяжело. Я запутался, как муха в паутине… Ты можешь уехать в СССР и прекрасно устроить свою жизнь. Мое же положение безвыходно тем, что я лично вернуться в СССР никогда не смогу”». «Зная о том, что отец связан с советской разведкой, — продолжает Ариадна, — я спросила: неужели он своей работой на СССР не искупил своего прошлого?»  «Не только на СССР», — якобы ответил дочери Эфрон.  «Мне было ясно, что речь шла о французской разведке», — добавляет Ариадна.  С той же, заметим, логикой — вернее, алогичностью, — как и в изложении сюжета с Полем Мерлем.  Если все это — выдумка от начала до конца, то сочинена она почти вдохновенно. Впрочем, литературный талант Али Эфрон известен, как известна с ранних лет и ее одаренность в фантазиях, отмеченная еще в письмах молодой Цветаевой.  По как завораживающе похож на правду диалог отца с дочерью! Насчет французской разведки, естественно, глупость, но в остальном! А что, если и в самом деле отец Ариадны еще во Франции ощутил и свою вину перед женой, и то, что он попался, как муха в паутину, в грязную историю, из которой ему уже не выбраться подобру-поздорову? Он вполне мог об этом догадаться, когда год за годом — начиная с 1931-го — в полпредстве оттягивали и оттягивали возможность его возврата на родину…  Протокол одного этого допроса занимает в следственном деле А. С. Эфрон двадцать шесть страниц!  Зато теперь ее почти на месяц оставят в покое. Если верить свидетельству той же сокамерницы, то поначалу Ариадна не осознала важности случившегося; она пришла в тот раз с допроса усталая, но даже «довольная», и сказала, что наконец «созналась». Правда, между подругами, в изложении Белкиной, идет разговор только о «вине» самой Ариадны. Но почему же все-таки «довольная»?  Скорее всего, версия, предложенная следствию, созрела не на допросе, а в мучительные часы пребывания в ледяном карцере или в передышках между «конвейерными» допросами. И теперь Ариадна надеялась, что самое тяжкое уже позади…  Облегчение, однако, длилось недолго. Вскоре Ариадна стала требовать свидания с прокурором, дабы отречься от сказанного об отце. Видимо, ей отказывали, потому что встреча с прокурором Антоновым зафиксирована в протоколах только в марте.  К этому времени С. Я. Эфрон уже пять месяцев находился в заключении.  3  Любопытно, что ордер на арест Сергея Яковлевича составлен следователем 2 октября, а «утверждающая» подпись Берии появилась только 9-го. Не означает ли это, что «заслуги» Эфрона требовали согласований на еще более высоком уровне?..  Так или иначе, Эфрону подарена лишняя неделя свободы. Он смог в последний раз провести с женой и сыном свой день рождения и день рождения Марины Ивановны. Цветаевой исполнилось сорок семь лет…  Доставленный на Лубянку Эфрон заполняет анкету. Фамилию он называет двойную: «Андреев-Эфрон». В графе «профессия» записывает: «литератор», в графе «последнее место службы»: «был на учете НКВД». Жена: «Марина Ивановна Цветаева. Литератор и поэт». Далее — сведения о детях и сестрах. Паспорт выдан в Москве 16 октября 1937 года.  Первый допрос начнется в тот же день — 10 октября 1939 года в 11 часов утра. Он продолжается три с половиной часа — немногим дольше, чем первый допрос Ариадны.  Тем очевиднее разница. Если там протокол зафиксировал всего несколько строк «диалога», то показания Эфрона обширны и информативны.  Отвечая на вопросы, Сергей Яковлевич сообщает о себе подробные биографические сведения. Упоминает о службе санитаром в годы Первой мировой войны, о недолгой актерской деятельности в Камерном театре. Отношение к Февральской революции? «Как у большинства офицеров», — не слишком внятно отвечает Эфрон (ибо отвечать по существу пришлось бы длинно, он вовсе не был в восторге тогда от происходившего). Далее — об отношении к большевикам, об участии в Белой армии, об эвакуации в Турцию вместе с уцелевшими частями белых. О Галлиполийском лагере. Это название следователь явно слышит первый раз в жизни, потому что записывает «Гампорижский», на слух, и Эфрон, подписывая эту страницу, педантично исправляет ошибку. |

16

|  |
| --- |
| — Чем вы там занимались? — допытывается следователь.  — Я там голодал и жил зиму в неотапливаемой палатке, — отвечает Эфрон.  — Что же вас так плохо встретили ваши хозяева, в угоду которым вы вели борьбу с оружием в руках? — иронизирует следователь.  (Тональность и направленность следовательских вопросов подчинена задаче «уличить преступника», выжать из любого сообщаемого им факта криминал — это естественно. Но сквозь «Гампорижский лагерь» просвечивает не просто дремучее невежество. Протоколы следственных дел — и только ли тридцатых годов? — уникальный материал для психиатра, настолько очевидна свихнутость мозгов советского следователя. Извилины тут как бы соединены по особой схеме; вместо логики работают внедренные в сознание клише советского катехизиса: «не черное — значит, белое», «не наше — значит, от акул империализма», «против нас — значит, в угоду и за мзду»… Таков следователь НКВД, без колебаний запечатлевающий в протоколах алогизмы собственных больных умозаключений. В конце пятидесятых и шестидесятых годов арестованных уже не били (по крайней мере, в Москве и Ленинграде), но тип следователя оставался тем же. И пусть верит кто может, будто с 21 августа 1991 года в стенах того же Учреждения все разом изменилось. В механизм робота можно, наверное, вставить другую программу, но в искалеченную органику человека — вряд ли…)  Итак, следователь энергично подталкивает Эфрона к нужным формулировкам. «Значит, Октябрьскую революцию вы встретили враждебно?.. Ваша связь с белым движением отражала общность ваших взглядов в борьбе против большевиков?»  Подследственный не уклоняется: «Совершенно верно». «Именно так». И тут проступает черта, характерная и для всех остальных показаний Эфрона. Он не пытается сгладить крутые повороты своей биографии, уклониться от рассказа об эпизодах, невыгодных в его теперешнем положении. В этих последних случаях он, правда, немногословен и остается в рамках того, что следствие уже знает от других арестованных. Но временами он все же оспаривает трактовку этих эпизодов, когда они слишком безудержно выходят в пространство целенаправленных фантазий. Протоколы всех восемнадцати допросов Эфрона воссоздают отчетливую картину его твердости, соединенной с готовностью отвечать за реальные прегрешения перед советским правосудием.  Он подробно рассказывает о своих эмигрантских годах.  О том, что в Праге он был организатором Демократического союза русских студентов; возглавляемая им тогда группа придерживалась ориентации антисоветской — и одновременно антибелогвардейской. Она не имела, говорит Эфрон, своей политической программы. По пыталась выработать собственные позиции, отличные от тех, на которых держалось Белое движение: в нем Эфрон и его единомышленники — бывшие белогвардейцы — к тому времени уже глубоко разочаровались. Чтобы выработать новые позиции, они считали необходимым пристальнее вглядываться в реальные процессы, происходившие в современной России, не терять с ней связь.  Если бы неблагодарный слушатель, которому Сергей Яковлевич так подробно рассказывал теперь свою жизнь, мог взять в руки студенческий журнал «Своими путями» — он увидел бы, что арестованный правдив до мелочей. Все годы эмиграции прошли для Сергея Яковлевича, в сущности, в упорных попытках найти «третью опору» в непримиримой вражде белых и красных. Ни те ни другие не вызывают его полного доверия, но у тех и у других он ищет и находит осколки «своей» правды.  Впрочем, до поры до времени. Время делало свое дело. То, что оказалось перед глазами, вблизи, слишком часто отталкивало: эмигрантские свары, слепая злоба по отношению ко всему, что осталось в России, безудержное восхваление Белого движения…  Куда легче идеализировать то, что вдали, — и к концу двадцатых годов поиски «третьей позиции» заканчиваются у Эфрона выбором в пользу «советской правды».  Переходя к парижскому периоду своей биографии, Эфрон дает подробные показания о евразийском движении, захватившем в середине двадцатых годов широкие слои русской эмиграции. Он излагает программные установки евразийцев, подробно характеризует разностороннюю практическую деятельность организации, ее финансовые источники. Называет имена руководителей парижской группы, к которой он тогда принадлежал. Почти все они остались во Франции: Н. С. Трубецкой, П. П. Сувчинский, П. Н. Малевский-Малевич, H. Н. Алексеев. Двое евразийцев — П. С. Арапов и Д. П. Святополк-Мирский — вернулись в СССР в начале тридцатых годов и были арестованы.  Игнорируя тон следовательских вопросов, «уличающие», «подлавливающие» их формулировки, Сергей Яковлевич упорно пытается идти по пути достоверных фактов и обстоятельств. Временами даже кажется, что он движим чуть ли не простодушной надеждой пробить глухоту своего «собеседника», разъяснить его, а не свои собственные «заблуждения», и совершенно не замечает полнейшей незаинтересованности в истине допрашивающей стороны.  Разоблаченная морока - i_025.jpg  *«Евразийцы» (слева направо): Н. А. Клепинин, Л. П. Карсавин, два неизвестных лица, А. Н. Клепинина, А. В. Эйснер*  Между тем его постоянно перебивают вопросами, бесцеремонно напоминающими, где именно и когда происходит это выяснение исторических обстоятельств.  — Какую практическую антисоветскую деятельность вели евразийцы?  — С какими иностранными разведками они были связаны?  — Какие шпионские задания они — и вы лично — выполняли?  Эфрон готов назвать позицию евразийцев антисоветской — хотя бы на том основании, что один из евразийских лозунгов второй половины двадцатых годов формулировался как «Советы без коммунистов». Но он решительно отвергает завербованность иностранными разведками. И, кроме того, настойчиво подчеркивает: уже в 1928–1929 годах и он сам, и многие евразийцы, пересмотрев прежние взгляды, прочно «встали на советскую платформу».  — Расскажите о вашей антисоветской деятельности после 1929 года, — упорствует следователь.  — Мне нечего рассказывать, — читаем в ответе Эфрона. — После 1929 года ее не было.  — Следствие вам не верит…  Не забыт в этом допросе и еще один важнейший аспект разработанного априори обвинения. Без него не обходится в эти годы ни один политический процесс: связь с троцкистами.  Вожделенную зацепку еще 7 августа этого года дал П. Н. Толстой. Он сообщил следствию факт, о котором слышал в начале тридцатых годов во Франции от самого Эфрона. Этот факт — встреча евразийцев с Г. Л. Пятаковым в бытность того в Париже на посту советского торгпреда. В интерпретации Толстого встреча названа «совмещенным совещанием», в результате которого евразийцы стали заграничным филиалом троцкистского центра, сформированного в Советском Союзе.  К этому времени, напомним, Пятаков уже расстрелян. Он был обвинен на январском процессе 1937 года — совместно с Сокольниковым, Радеком и другими — в создании так называемого «параллельного антисоветского троцкистского центра», якобы ставившего своей задачей свержение советской власти и восстановление капитализма.  Эфрон не мог не понять всей опасности всплывшего эпизода.  И в этом месте его показаний, как они зафиксированы в протоколе, — лаконичность, нехарактерная для других ответов. Он признаёт, что такая встреча имела место. Но участвовал в ней только Петр Петрович Сувчинский, и подробностей состоявшегося разговора он, Эфрон, не знает.  Забегая вперед, скажу, что удержаться на этом лаконизме ему не дадут. Ибо о злополучной встрече с пристрастием допрашивают не только Эфрона и Толстого, но и Клепининых-Львовых, и Эмилию Литауэр. Добытые следствием подробности постепенно заставляют Сергея Яковлевича заговорить менее односложно.  Тогда он сообщит, что инициатива встречи исходила от самого Пятакова. К евразийцам будто бы пришел от его имени в январе 1929 года Борис Неандер, редактор газеты «Русский вестник», выходившей в Париже; он сказал об интересе Пятакова к программным установкам евразийцев. Состоявшаяся встреча носила характер полуофициальный — не как с лидером оппозиции, а как с советским торгпредом. Такова интерпретация Эфрона. |

17

|  |
| --- |
| Как раз в это время возникли трудности с субсидированием газеты «Евразия». По словам Эфрона, Сувчинский предложил использовать страницы газеты для пропаганды успехов советского общества — не в обмен на финансирование, а в связи с искренним желанием «левых» евразийцев быть полезными строительству социализма в России.  Однако, утверждал Эфрон, встреча не имела последствий, прочный контакт так и не был установлен.  (Дата этой встречи остается неясной. Торгпредом Г. Л. Пятаков был в Париже в 1927 году. На допросах же называют то 1928-й, то 1929 год. Однако газета «Евразия» начала издаваться только в ноябре 1928 года, а в сентябре 1929-го она уже прекратила свое существование — и именно из-за отсутствия средств.)  4  Трагические парадоксы жизни… Обвинение в сотрудничестве с троцкистами предъявляют Эфрону, а затем предъявят и его сподвижникам — Клепининым, Афанасову и Литауэр, — им, столь энергично вовлеченным в середине тридцатых годов в борьбу с троцкизмом за рубежом — по заданию энкавэдэшников из парижского посольства. Им, предпринявшим в 1936 году тайную поездку в Норвегию, дабы удостоверить реальный адрес Троцкого; им, изобретательно организовавшим слежку за сыном Троцкого Львом Седовым; им, участвовавшим в целой серии антитроцкистских акций, о подробностях которых еще предстоит узнать… Что чувствовали они теперь, попав под обвинение в сотрудничестве с теми, кого сами считали закоренелыми врагами отечества?  Вспоминали ли, как еще два с лишним года назад, собираясь вместе в Париже, передавали друг другу ошеломляющие новости о том или ином превосходном человеке, который вдруг оказывался тайным сподвижником лидера оппозиции, изгнанного из СССР? Догадались ли хоть теперь, о чем свидетельствовали «признания» подсудимых на московских процессах?  Но мы ничего не поймем о тех, чью личную судьбу сейчас пытаемся проследить, пока не увидим их в ряду событий безумной эпохи.  Нет ничего проще в наши дни (когда многое уже разжевано и положено в рот усилиями воцарившейся гласности), чем презрительно толковать о тех, кого ностальгические комплексы лишали трезвого взгляда на вещи. В грехе такого презрения повинен Дмитрий Сеземан в мемуарах «Париж — ГУЛАГ — Париж». Но он был совсем юн в те годы. А вот куда подверстать простодушие множества европейских журналистов? Ведь они упорно повторяли, к примеру, в 1937 году, бред о «троцкистских фашистах», якобы угнездившихся в Испании, в каталонской партии ПОУМ? Миф был сочинен в тех же кабинетах, где готовились и известные «процессы», но подхватили его уже не ностальгирующие русские эмигранты, а газеты Валенсии и Парижа, Лондона и Нью-Йорка…  И это отнюдь не единственный пример загадочного помрачения умов «прогрессивной» интеллигенции мира во второй половине тридцатых годов.  Все, что Эфрон рассказывал о евразийском движении, — следователем пропущено мимо ушей. Но несколько реальных подробностей в неузнаваемо препарированном виде будет вставлено в фантастическую версию обвинения.  На этом же допросе в первый и последний раз Эфрона спрашивают о Марине Цветаевой.  — Какую антисоветскую работу проводила ваша жена?  — Никакой антисоветской работы моя жена не вела, — записан ответ Эфрона. — Она всю свою жизнь писала стихи и прозу. Хотя в некоторых своих произведениях высказывала взгляды несоветские…  Несогласие следователя, как легко предположить, выплескивается нецензурным окриком, если не зуботычиной, но в протоколе изысканная деликатность:  — Не совсем это так, как вы изображаете. Известно, что ваша жена проживала с вами совместно в Праге и принимала активное участие в издаваемых эсерами газетах и журналах. Ведь это факт?  Сведения о том, где жила и где печаталась Цветаева, сообщены следователю Ариадной. Материалы ее допроса цитируются (а может быть, частично и предъявляются) в этот день Эфрону. Копия протокола от 27 сентября подшита в папку дела отца.  — Да, это факт, — подтверждает Сергей Яковлевич. — Она была эмигранткой и писала в эти газеты, но антисоветской деятельностью не занималась.  — Непонятно, — записывает далее собственную реплику следователь. — С неопровержимостью доказано, что белоэмигрантские организации на страницах издаваемых ими изданий излагали тактические установки борьбы против СССР…  (Диалог о Цветаевой я только цитирую, ничего не опуская и не пересказывая. Поясняю это потому, что скачки следовательской логики могут вызвать подозрения в пропусках. Но в протоколе все именно так!)  — Я не отрицаю того факта, — читаем ответ Эфрона, — что моя жена печаталась на страницах белоэмигрантской прессы, однако она никакой антисоветской политической работы не вела.  И все это, напомню читателю, первый допрос!  За протоколом первого допроса в следственном деле Эфрона идет медицинская, справка. Из нее становится ясно, что в награду за все попытки терпеливо разъяснить следствию историю своих прегрешений арестованный был сразу же отправлен в Лефортово.  Марии Белкиной удалось разыскать сокамерниц Ариадны Эфрон и поговорить с ними. Увы, обстоятельства пребывания Сергея Яковлевича в тюремных застенках остаются совершенно неизвестными.  Зато известна репутация страшной Лефортовской тюрьмы. Известно уже и многое о практиковавшейся системе допросов. Сам М. П. Фриновский в 1938 году свидетельствовал о том, что «лица, проводившие следствие… начинали допросы, как правило, с применения физических мер воздействия, которые продолжались до тех пор, пока подследственные не давали согласия на дачу навязывавшихся им показаний. До признания арестованными своей вины протоколы допросов и очных ставок часто не составлялись. Практиковалось оформление одним протоколом многих допросов, а также составление протоколов в отсутствие допрашиваемых».  Медицинская справка подписана начальником санчасти Лефортово военврачом 3-го ранга Яншиным. Он констатирует, что Эфрон страдает частыми приступами грудной жабы, на современном языке — стенокардией («сердце расширено во все стороны, глухие тоны»), а также неврастенией в тяжелой форме. В связи с этим для следственных органов даются практические рекомендации: проводить «занятия» (sic!) в дневное время, не больше двух-трех часов в сутки — и в помещении с хорошей вентиляцией, при повседневном врачебном наблюдении.  Справка датирована 19 октября, но запрос сделан следственной частью еще раньше — 15-го. Что означает, по-видимому, резкое ухудшение состояния подследственного вскоре (или сразу!) после первого допроса.  26 октября следователь Кузьминов знакомит Эфрона с «Постановлением о предъявленном обвинении». В нем сказано, что арестованный «достаточно изобличается в том, что являлся одним из руководителей белогвардейской “евразийской” организации <…> которая вела активную подрывную деятельность против СССР. Одновременно являлся агентом одной из иностранных разведок, по заданию которой направлен в СССР для ведения шпионской подрывной работы. Являлся секретным сотрудником НКВД и скрывал от органов свою шпионскую связь с иностранными разведками…»  Эфрон категорически отрицает обвинение в «изменнической деятельности». Разговор со следователем на этот раз, если верить записи в протоколе, занял всего двадцать минут.  Следующий допрос тот же Кузьминов проведет 1 ноября.  Биографические сведения больше не нужны. Главные темы теперь: евразийцы и иностранная разведка, евразийцы и их связь с троцкистами.  Отметим здесь одно важное место в показаниях Эфрона. Еще на первом допросе он назвал имя Петра Семеновича Арапова как руководителя секретной работы евразийцев. И вот теперь, 1 ноября, уступая настояниям следователя, Эфрон признаёт: Арапов был действительно связан с польской, немецкой, а может быть, и с английской разведкой.  Но *он делал это по поручению ГПУ!* Такое пояснение, говорит Эфрон, он слышал из собственных уст Петра Семеновича.  Свидетельство это, безусловно, могло бы вызвать недоверие, встреться оно в показаниях других. Но Эфрон, судя по всему, не сочиняет версий. И потому запомним его слова — они, скорее всего, соответствуют действительности. |

18

|  |
| --- |
| К концу этого допроса появится еще одна тема, по всей видимости, крайне тяжелая для Сергея Яковлевича. Она касается соседей Эфрона по болшевской даче, его давних друзей — Клепининых-Львовых. Следствие явно готовится к их аресту, но пока они еще на свободе.  Легко домыслить, что, вынуждая Эфрона к «уличающим» Клепининых показаниям, его опять провоцируют сведениями, которые предоставила на очередном допросе его собственная дочь. Она наговорила множество конкретных подробностей — из области, которая ей самой, возможно, казалась не слишком криминальной: «антисоветские разговоры».  Может быть даже, теперь на Ариадну и не ссылаются. Но когда узнаваемые конкретности, известные до тех пор только узкому кругу лиц, предъявляются на допросе, их психологическое воздействие носит шоковый характер.  У Эфрона могло создаться ощущение, что на болшевской даче арестованы уже все — или будут вот-вот арестованы.  Вторая справка «медосвидетельствования» в деле Эфрона датирована 20 ноября.  Ее содержание страшно.  В справке указывается, что уже с 24 октября (то есть через две недели после ареста!) Эфрон наблюдался психиатром. А 7 ноября он был помещен в психиатрическое отделение больницы Бутырской тюрьмы. (Это означает, в частности, что допрос, состоявшийся 1 ноября, проходил в период ремиссии, сменившейся затем новым резким ухудшением состояния пациента.)  Разоблаченная морока - i_026.jpg  *Кадр из французского фильма «La Madone des sleepings» (1927). С. Эфрон в роли заключенного, которого сейчас поведут на расстрел*  Справка свидетельствует о том, что Эфрон сделал попытку покончить с собой. Скорее всего, именно это и заставляет поместить его в больницу — дабы держать под усиленным наблюдением.  Можно предположить, что попытка самоубийства предпринята Сергеем Яковлевичем вскоре после допроса 1 ноября: именно тогда он мог особенно остро ощутить ловушку, в которую попал сам и втянул других.  Его принуждали теперь к показаниям против людей, за судьбу которых он ощущал свою ответственность!  Не могли не придавить невыносимой тяжестью и сведения о разговорах на болшевской даче, данные явно *изнутри*. Он-то хорошо понимал, что эти сведения представляли угрозу для всех обитателей дома — включая жену и сына! А если Эфрону сказали прямо, что показания эти дала его любимая дочь, им самим втянутая в страшный переплет…  Легко представить себе его реакцию.  Приведу более полно текст второй медицинской справки. Здесь можно прочесть о том, что Эфрон «с 7 ноября находится в психиатрическом отделении больницы Бутырской тюрьмы по поводу острого реактивного галлюциноза и попытки на самоубийство. В настоящее время обнаруживает слуховые галлюцинации, ему кажется, что в коридоре говорят о нем, что его жена умерла, что он слышал название стихотворения, известного только ему и жене и т. д. Тревожен, мысли о самоубийстве, подавлен, ощущает чувство невероятного страха и ожидания чего-то ужасного. По своему состоянию (острое душевное расстройство) нуждается в лечении в психиатрическом отделении больницы Бутырской тюрьмы с последующим проведением через психиатрическую комиссию».  Акт о состоянии пациента подписан 20 ноября 1939 года целым сонмом специалистов: врач-психиатр Довбия, консультант-психиатр санотделения АХУ НКВД Бергер, начальник санчасти Ларин, председатель комиссии — военврач 2-го ранга Смольцов.  Острое душевное расстройство… Подписавшие справку врачи считают, что для лечения Эфрона необходимы 30–40 дней.  Но Кузьминов, проводивший этой осенью почти все допросы Эфрона, игнорирует эти рекомендации. Уже 8 декабря подследственный снова доставлен в кабинет следователя — на этот раз для очной ставки с Толстым.  5  Павел Николаевич Толстой в группе обвиняемых, которые предстанут затем перед Военной коллегией Верховного суда СССР 6 июля 1941 года, — фигура почти случайная. Правда, он со всеми знаком еще по Парижу, где жил с шестилетнего возраста и имел широчайшие связи с самыми разными кругами русской эмиграции. Легкий нрав и общительный характер приводили его то к евразийцам, то к младороссам, он был вхож и в «Союз возвращения на родину», и в правобелогвардейские круги. Везде у него находились приятели — и родственные связи. Бывал не раз и в доме Эфрона; и особенно зачастил перед своим отъездом в СССР, в 1933 году.  Дальний родственник Алексея Толстого, он, вернувшись, около года жил в доме писателя в Детском Селе под Ленинградом. Позже переселился в Москву. Еще в 1934 году принял предложение «органов» о сотрудничестве и следил, в частности, за приехавшей из Франции дочерью Е. Ю. Скобцовой (матери Марии) — Гаяной, исчезнувшей вскоре в лагерях ГУЛАГа.[1] 2  Арестован был в конце июля 1939 года — и уже через неделю начал давать все требуемые показания, и в самом нужном для следствия направлении. Поэтому его охотно вызывают на очные ставки со всеми, кто упрямится. И он «изобличает» недавних друзей и знакомых, в чем требуется, — в шпионаже, террористических замыслах, контактах с троцкистами, антисоветской деятельности.  Он сочинял уверенно, округло, спокойно глядя в глаза своей жертве, порой снисходительно-барски ее увещевая: «Чего уж скрытничать, за грехи свои надо отвечать…» Я не решилась бы это утверждать, если бы не живое свидетельство Тамары Владимировны Сланской. Она рассказывала мне (и не только мне), как однажды, не выдержав главным образом именно тона и позы, она запустила в барственного «изобличителя» чернильницей, схватив ее со следовательского стола.  Теперь на очной ставке с Эфроном Толстой утверждает, что тот вовлек его в шпионскую деятельность в пользу французской разведки; что накануне отъезда Толстого на родину Сергей Яковлевич дал ему задание вступить в контакт с троцкистскими организациями в СССР; и он же дал «явки» в Москве и Ленинграде для связей со своими единомышленниками. Из Ленинграда Толстой, якобы как раз через Сланскую, переправлял Эфрону в Париж добытые шпионские сведения.  Записанная в протоколе реакция Эфрона весьма энергична: «Я абсолютно отрицаю все то, что сейчас сказал Толстой». И в другом месте: «Если я до сего времени полагал, что Толстому изменила память, то сейчас я должен сказать, что то, что он говорит, — просто ложь».  Лжесвидетельство, как и слишком хорошая память, не спасут Толстого. В мае 1940 года он делает попытку отказаться от своих показаний.  Но, вызванный для пояснений, тут же заберет отказ назад и подтвердит все, сказанное прежде. Его «подверстают», формируя «группу Эфрона», к тем, кого он помог «изобличить». Он будет шестым и явно «шестым лишним», инородным членом среди «подельников».  Наиболее драматичным эпизодом во всем следственном деле Эфрона оказалась другая очная ставка. Она состоялась 30 декабря, в самый канун 1940 года.  В этот день (вернее, вечер и ночь) сломить сопротивление Сергея Яковлевича призваны были его ближайшие друзья и товарищи — Николай Клепинин и Эмилия Литауэр.  Но допрос начинается пока еще без свидетелей. Формулировки следователя стандартны:  — Вас полностью изобличил на очной ставке Толстой. Намерены ли вы теперь прекратить запирательство?  Ответ Эфрона, записанный в протоколе:  — Я не считаю себя изобличенным, и изобличение Толстого считаю ложным. Я твердо настаиваю на том, что никакой шпионской деятельностью в пользу иностранных разведок я не занимался.  Вариации того же вопроса будут повторены несколько раз. Но не меняется и смысл ответов Эфрона. Тогда в кабинет следователя вводят Николая Андреевича Клепинина. С момента его ареста прошло уже более полутора месяцев. Супруги Клепинины были арестованы в тот самый день, когда Эфрона поместили в психиатрическое отделение тюремной больницы: 7 ноября, в день очередной Октябрьской годовщины.  1  Далее номера ссылок соответствуют номерам дополнительных материалов в Приложении 3 «На полях этой книги».  [вернуться](http://www.litmir.net/br/?b=193918&p=19" \l "read_app_2_back) |

19

|  |
| --- |
| Опускаю ритуал «узнавания» и полагающиеся вопросы к обеим сторонам об отношениях друг к другу. И вот Клепинин повторяет показания, к которым его уже сумели принудить: да, он является агентом нескольких иностранных разведок и вместе с Эфроном вел активную шпионскую работу.  — Вы подтверждаете эти показания? — обращается следователь к Эфрону.  — Отрицаю их, — отвечает Эфрон.  Направляемый вопросами Кузьминова, Клепинин говорит о газете «Евразия», в выпуске которой виднейшую роль играл Эфрон. О том, что газета предназначалась для распространения на территории СССР и была ориентирована на то, чтобы «нащупать оппозиционные элементы внутри Советского Союза».  (Это соответствовало исторической правде только по отношению к замыслу издания, в практическом же его осуществлении редакция резко ушла влево, в сторону сближения с Советами.)  — Все это, однако, вовсе не говорит о шпионской деятельности, — записана реплика Эфрона.  Тогда Клепинин вводит тему связи Эфрона с русскими масонами в Париже. В частности, с графом Бобринским, который, по утверждению Клепинина, был в прямом контакте с французской разведкой. Масоны были заинтересованы, говорит Клепинин, в проникновении на территорию Советского Союза и считали, что Эфрон может быть им полезен как человек, имеющий тесные связи с советским полпредством в Париже, и как деятель «Союза возвращения на родину».  — Что вы скажете теперь? — Вопрос следователя обращен к Эфрону.  — Я позволю себе утверждать, — записан ответ, — что у Николая Андреевича также никакой шпионской деятельности не было.  Ответ явно не по существу вопроса. И как ни сложно по протоколам строить предположения о мотивах поведения, все же складывается впечатление, что во время этой встречи Эфрон пытается образумить своего недавнего друга. Он хочет помочь ему не поддаться нажиму следствия, сосредоточить его на отрицании главного обвинения, к которому их обоих подводят.  Клепинин, однако, снова напоминает конкретную деталь: одну из встреч в 1935 году в кафе у Эколь Милитер. Тогда Эфрон при Клепинине писал письмо Петру Бобринскому, и они говорили о масонах. Снова Эфрон уходит от прямой реакции на сказанное.  — Был такой факт? — обращается следователь к Эфрону.  — Я ничего не понимаю… — записано в ответе. — Я знаю только, что никакой антисоветской деятельностью после 1931 года я не занимался…3  — Сережа, — обращается наконец Клепинин к своему давнему другу (и эту запись я снова привожу дословно), — еще раз к тебе обращаюсь. Дальше запираться бесполезно. Есть определенные вещи, против которых бороться невозможно, так как это бесполезно и преступно… Рано или поздно ты все равно признаешься и будешь говорить…  На очных ставках запись ведет обычно стенографистка, а не следователь. После расшифровки своих записей она перепечатывает их на машинке. Вот почему в записях очных ставок мы несравненно лучше «слышим» голоса подследственных, чем в протоколах других допросов. Их интонации естественнее, противоречия не замазаны… Протоколы очных ставок фиксируют и возмущенные реплики «обличаемого», и уговаривающий тон другой стороны. Именно эти протоколы рассеивают сомнения, возникающие у сегодняшнего читателя следственных дел тех времен.  Клепинина уводят. Его место занимает Эмилия Литауэр.  Арестованная в один день с Ариадной, Эмилия сдалась тоже не сразу. Спустя две недели после ареста, на очной ставке с тем же Толстым 10 сентября 1939 года, она еще упорно сопротивлялась нелепым обвинениям. Но теперь позади были уже четыре месяца испытаний! И в их числе — лефортовские застенки.  На вопрос следователя к Эфрону, узнает ли он Эмилию, Сергей Яковлевич отвечает: «Да, это мой товарищ и друг».  — Ваш друг, — говорит Кузьминов, — также изобличает вас своими показаниями в шпионской деятельности.  — Я бы хотел, — так записана реплика Эфрона, — поточнее услышать, что именно показала Эмилия Литауэр.  И теперь он слышит уже из ее уст — о том же: о совместной шпионской работе, начавшейся в 1927 году, когда Эмилия вступила в парижскую евразийскую организацию, о распределении сфер деятельности между евразийцами после их «раскола» в конце двадцатых годов. «Мне было велено вступить во Французскую компартию, — говорит Литауэр, — а Эфрон взял на себя шпионскую работу в “Союзе возвращения” и в советской разведке…»  Эфрон явно подавлен. У него вырывается:  — Если все мои товарищи считают меня шпионом, в том числе и Литауэр, и Клепинин, и моя дочь, то, следовательно, я шпион и под их показаниями подписуюсь…  Он просит прервать допрос. Его состояние отражает неправдоподобно корректная запись в протоколе: «Сейчас я ничего не могу говорить, я очень утомлен».  Литауэр уведена.  Но конца допросу не видно! Его машинописный протокол занимает тридцать семь страниц! Начатый, если верить проставленному времени, без четверти десять вечера, допрос закончится только в половине третьего ночи.  Похоже на то, что эта двойная очная ставка — последняя надежда следствия сломить арестованного. Цель кажется им теперь близкой к достижению. Депрессивное состояние Эфрона не оставляет сомнений.  — Прошу отложить показания, — повторяет он не однажды.  И получает записанный в протоколе ответ:  — Ваша просьба будет удовлетворена, только скажите, на какие разведки вы работали.  Тогда Эфрон просит дать ему возможность задать еще некоторые вопросы Клепинину. И того снова возвращают в следовательский кабинет.  — В чем ты меня обвиняешь, — обращается к нему Эфрон, — скажи мне прямо?  — В том, что ты был членом евразийской организации. А она имела план проникновения в Советский Союз с помощью иностранных разведок. Святополк-Мирский, — поясняет далее Клепинин, — приехал в СССР, чтобы занять командные высоты в советской печати. Он должен был организовать травлю Фадеева по заданию Бруно Ясенского и его группы…  — От кого я мог знать об этом плане?  — От Мирского, от Малевского-Малевича, от Сполдинга…  — На какие разведки я работал?  — На несколько, в том числе на французскую… — отвечает Клепинин.  — Теперь вам ясно? — обращается к Эфрону следователь.  — Мне ясно, — записана усталая реплика Эфрона. Похоже, что теперь он уже все понял: правда здесь никому не нужна, Клепинин наметил общую линию вранья. Вранья — как он думает — на выживание.  — Так на какие же разведки вы работали? — не отстает следователь.  — Я ничего не могу сейчас рассказывать, — повторяет Эфрон.  Снова уводят Клепинина. Снова введена в кабинет Эмилия Литауэр. Деморализованный и, видимо, мучающийся физическим недомоганием, Эфрон вдруг соглашается на компромисс. Хорошо, с разведками он был, хоть и опосредованно, связан, но шпионом во всяком случае не был.  Однако теперь уже Литауэр не дает Сергею Яковлевичу остановиться на полдороге. Она излагает версию, к которой тому предлагается присоединиться. Согласно ей, Эфрон еще перед отъездом Эмилии из Франции дал ей задание: проникнуть, используя профессию очеркиста, на советские военные заводы и собрать там шпионские сведения. Она «напоминает» также, что, уже приехав в СССР, Эфрон продолжал ее здесь инструктировать. Он предлагал, в частности, использовать плохое знание французского языка редакторами французских изданий, выходивших в СССР, и протаскивать на страницы этих изданий антисоветскую пропаганду. Например, говорит она, Сергей Яковлевич считал, что надо вести борьбу с «официальным оптимизмом».  Оценить эту последнюю подробность, всерьез зафиксированную в протоколе, мог, видимо, только Эфрон. Ведь похоже, что Эмилия, как и Ариадна, предлагает смесь выдумки с правдой. Но на минуту вспыхивает подозрение: а что если и в самом деле бывшие евразийцы не отошли полностью от своих прежних идей? Ибо в их установках середины двадцатых годов занимала важнейшее место как раз эта задача: преобразовать на евразийский лад существующие советские организации. Правда, шпионские сведения о военных заводах для этого, кажется, все же не требовались. |

20

|  |
| --- |
| Следователь требует от Эфрона подтверждения сказанному. Тот отвечает:  — Повторяю, я ничего рассказывать не могу.  — Когда же вам верить? — спрашивает следователь, имея в виду, что Эфрон уже как бы признался в сотрудничестве с разведками.  — Пусть меня изобличают мои друзья, — записан ответ Эфрона. — Сам я ничего сказать не могу.  И тут Литауэр повторяет почти то же самое, что несколькими часами ранее сказал своему другу Клепинин.  — Я хочу дать настойчивый совет Сергею Яковлевичу, — говорит она, — рассказывать всю правду, не скрывая ничего ни о себе, ни о других. Я говорю это как товарищ и друг.  Очная ставка прервана в середине ночи. И почти с нулевым для следствия результатом. Но Эфрону она, несомненно, многое прояснила. Он воочию убедился, что его друзья приняли как неизбежность версию, состряпанную следствием. И эта версия была ему теперь внятно изложена.  Но убедилось и следствие: оговаривать себя и других Эфрон по-прежнему не собирался. А очные ставки с ним могли только поколебать сподвижников, демонстрируя стойкость человека, который был для них авторитетом.  И в дальнейшем к очным ставкам с Эфроном следствие уже не прибегает.  6  Клепинин вел себя на допросах иначе, чем Эфрон. На первый взгляд может показаться (так и показалось впервые читавшей протоколы дочери Клепининых Софье Николаевне, слишком потрясенной, чтобы их анализировать), что Николай Андреевич просто не выдержал испытаний, сломался. Но нет, это больше похоже на другое: на продуманную и лишенную прекраснодушных иллюзий линию поведения, в основе которой лежала трезвая оценка безнадежной ситуации, в которой они все оказались.  В отличие от Эфрона, Ариадны и Эмилии, Николая Андреевича вызвали на первый допрос не сразу, в день ареста, а только через неделю — 15 ноября. За это время он, видимо, имел возможность понаблюдать и послушать сокамерников, прийти в себя, подумать. И у него не оставалось уже надежд, какие, как кажется, сохранял поначалу Эфрон: что если он будет рассказывать правду, его услышат.  После возвращения на родину Клепинин возобновил свое сотрудничество с НКВД с начала 1939 года (и только после этого получил работу в ВОКСе!). Он завязал кое-какие связи и успел уже наглядеться на то, что делалось в отечественном Учреждении.  И с каким же наслаждением, при каждом удобном случае, он топил теперь на допросах своих коллег! Правда, он топит тех, о ком он достоверно знает, что они арестованы и навредить ему уже не могут.  Он говорил, например, о Шпигельгласе, в кабинете которого весной тридцать девятого он вел такие странные переговоры, что тот нарочно провалил лозаннскую «акцию», давая глупейшие инструкции участникам и не предусмотрев элементарных мер конспирации (а подробности убийства Рейсса Клепинин и Эфрон теперь-то уже хорошо знают из уст приезжавших в Болшево Кондратьева и Смиренского). С удовольствием, которое легко угадывается, подследственный рассказывал и о поведении сотрудников НКВД, наезжавших в тридцатые годы во Францию в служебные командировки: как транжирили они там, вдали от начальственных глаз, казенные средства, поселяясь в самых дорогих отелях, посещая самые фешенебельные парижские рестораны и разъезжая на такси по делам вовсе не служебным…  Он явно ни на грош не верил своим следователям. Но и переиграть их не пытался. Он вел себя так, словно, ни на какое спасение уже не надеясь, старался лишь уберечь от лишних мучений себя и своих товарищей.  (Он их, разумеется, не избежал. Кто-то из сокамерников Клепининой сообщил позднее ее сыну, что она слышала во время допроса из-за стены стоны ее истязаемого мужа.)  На очных ставках Николай Андреевич уговорит сначала Эмилию, а потом и долго сопротивлявшуюся Нину Николаевну принять его линию поведения. Он говорил им то же, что и Эфрону: есть ситуации, когда сопротивление бесполезно. Никто все равно не верит нашему отрицанию. Рано или поздно все равно придется «признаваться»…  Разоблаченная морока - i_027.jpg  *Нина Николаевна Клепинина*  Он почти что проинструктировал их на очных ставках — как и о чем следует говорить, чтобы не мучиться, плутая в тенетах полной лжи. Его рецепт был прост: зарубежных сотрудников советской разведки надо всякий раз называть агентами разведок иностранных!  Только и всего.  И все довольны.  Он находил формулировки, пригодные для ушей следователя, так, что в конце концов свои его понимали. И жена, и Эмилия на последующих допросах вели себя именно по этому рецепту. Теперь подробности, которых без конца требовали от них на допросах, могли быть умножены сколько угодно. Особенно когда речь шла о тех, кто остался во Франции…  Но Эфрон оказался неумолим перед доводами Николая Андреевича.  К двум разным источникам восходит слух о том, что Эфрона приводили в кабинет Берии. И будто бы «беседа» их прошла крайне бурно.  Алексей Эйснер слышал, отбывая свой срок в лагере, что Сергей Яковлевич вел себя при этом свидании столь непокорно, что якобы был тут же, в кабинете, застрелен охраной наркома.  Автор другой версии — Ариадна Сергеевна. Она утверждала, что, когда ей вручали в Военной прокуратуре документ о реабилитации отца, прокурор сказал ей: «Ваш отец — мужественный человек. Он осмелился перед самим Берией оспаривать предъявленные ему обвинения. И поплатился за это расстрелом в стенах Лубянки».  Но Эфрон был расстрелян только 16 октября 1941 года. Хотя бы это мы знаем теперь достоверно.  И все же, видимо, нет дыма без огня. В кабинет Берии Эфрона, скорее всего, приводили: упорство арестованного в сочетании с надеждами, которые на него возлагались (об этом чуть ниже), делают вполне реальным такое предположение. И так как нет достоверных свидетельств о том, как могла пройти такая встреча, кажется уместным привести соответствующий эпизод из воспоминаний Евгения Гнедина.  Гнедин возглавлял отдел печати Наркоминдела. Он был арестован почти в то же время, что и Эфрон (в мае тридцать девятого), также прошел через Лефортово — и через еще более страшную Сухановскую тюрьму, а приговоры тому и другому были вынесены с промежутком всего в сутки.  У Гнедина выбивали лживые показания против Литвинова; Эфрона заставляли принять версию шпионажа и связей с троцкистскими террористами для большой группы репатриантов. Можно уверенно утверждать, что если бы Эфрон уступил, это сказалось бы самым скверным образом на судьбах множества вернувшихся из эмиграции: «преступные цели» их приезда в СССР уже не нуждались бы ни в каком обосновании.  Гнедин, однако, выжил и написал мемуары. Перечитывая их, с особенной силой понимаешь искаженность сведений, зафиксированных в протоколах допросов. Тут протоколы существенно дополнены жуткими подробностями. Опухшие от многочасового стояния ноги, яркая ослепляющая лампа, направленная прямо в глаза, оплеухи и зуботычины, унижающая брань, страшные вопли за стеной, которые не может заглушить даже аэродинамическая труба, день и ночь ревущая во дворе Лефортовской тюрьмы…  Воспоминания Евгения Гнедина «Себя не потерять» помогают представить кабинет всесильного «нелюдя», к сердцу которого будет взывать в своем письме Марина Цветаева.  Гнедину пришлось побывать в кабинете Берии трижды. В присутствии наркома, и даже по его особым указаниям, двое подручных (одним из них был начальник следственного отдела Кобулов) принялись избивать арестованного, сначала ударами по голове, потом резиновыми дубинками по пяткам, едва он попробовал повторить перед Берией слова о своей невиновности. Не добившись желаемого, палачи бросили заключенного в холодный карцер с каменным полом. А через некоторое время уже снова тащили его в тот же кабинет. «Когда меня вторично отправили в холодную, я потерял представление о времени, — пишет Гнедин. — Ни непосредственно после окончания серии пыток, ни позднее, спокойно размышляя, я не мог определить, как долго длилась эта первая серия: трое, четверо, пятеро суток? Я помню, что, впервые возвращенный ненадолго в камеру, я удивился, узнав, что миновали сутки. Кажется, был утренний туалет заключенных. Бывший полковник, оглядев меня (а программа еще далеко не была завершена), сказал: “Я бы и половины не выдержал!” Боюсь, что знакомство с моим опытом подорвало его стойкость». |

21

|  |
| --- |
| *Глава 4*  В Бедламе нелюдей  1  Уехав из Болшева в Москву после ареста Николая Андреевича Клепинина, Цветаева поселилась с сыном в крошечной проходной комнатке у Елизаветы Яковлевны. Но уже в декабре, благодаря хлопотам Пастернака, они переехали в Голицыно, что под Москвой, в Дом отдыха писателей.  После болшевского затвора и пятимесячного одиночества с не-своими Марина явно переводит дух в голицынском доме. Впрочем, в самом писательском особнячке Цветаева не живет, им сняли комнату в доме неподалеку. Но столуются они вместе со всеми обитателями дома, за общим обеденным столом. Марина Ивановна чувствует себя тут в центре внимания, контингент здесь все же литературный, и многие помнят ее ранние стихи. Свободно и раскованно она поддерживает за столом возникающие литературные темы, охотно рассказывает о Праге и Париже, о французской литературе — и подчас бывает даже весела. Порывисто откликается на малейшие проявления сердечности и быстро завязывает первую дружбу — с самобытной и норовистой, со всеми перессорившейся сорокалетней Людмилой Веприцкой, — та напоминает Марине Анну Ильиничну Андрееву. Веприцкая вскоре уедет, но в голицынском доме все время кто-то уезжает и кто-то приезжает, это уже не изолированное от всего мира Болшево. Появляются новые собеседники — литературовед Евгений Тагер, еврейский писатель Ноях Лурье, сатирик Виктор Ардов; прочная дружба, греющая сердце Цветаевой, завяжется с четой Н. Я. Москвина и Тани Кваниной. Есть, впрочем, и те, кто ее с опаской обходит («белоэмигрантка»! муж и дочь арестованы!), и такие будут всегда, это особая порода робких людей.  Цветаева проживет здесь почти полгода, — в Москве ей жить негде. Настойчивые попытки найти хоть какую-нибудь комнату в столице ни к чему не приводят, хотя Самуил Гуревич активно старается помочь в поисках. Мур учится в шестом классе голицынской школы, и беспрерывно болеет: то грипп, то воспаление легких, то свинка. Между тем Марине Ивановне надо дважды в месяц ездить в Москву: она передает в тюрьму передачи — Сергею Яковлевичу и Але, каждому по две в месяц. Кроме всего прочего, только в момент передачи можно было удостовериться: живы.  Зимняя темнота, ледяной ад промерзших вагонов, вечная путаница с трамваями, замирание сердца в тюремных очередях к роковому окошку… Когда сын здоров, он сопровождает мать в этих поездках.  23 декабря 1939 года — эта дата стоит на письме, которое Цветаева отправила на имя наркома внутренних дел Берии. Очень возможно, что аналогичное письмо было отправлено и на имя Сталина.  Сохранившиеся в архиве варианты выдают мучительную работу над составлением текста.  Абзацы и фразы то вписываются, то вычеркиваются. Марина Ивановна пытается спасти мужа и заслугами своего отца Ивана Владимировича Цветаева перед русской культурой, и революционной биографией Елизаветы Дурново-Эфрон, матери мужа, и личным свидетельством о святой и жаркой вере Сергея Яковлевича в правильность пути Советского государства. В письме подчеркнуты врожденно высокие качества личности Эфрона: благородство, бескорыстие, неспособность к двоедушию… «Утверждаю как свидетель, — пишет Цветаева, — этот человек Советский Союз и идею коммунизма любил больше жизни…»  Тон интимной доверительности неизменно присущ цветаевским письмам, кому бы они ни были адресованы, — это характернейшая их черта. И даже письмо палачу — не нарушает этой традиции! (Текст письма публикуется в Приложении.)  Какая же бездна иллюзий и надежд должна была еще сохраниться в ее отчаявшемся сердце, чтобы — после всех черновиков и вариантов — остановиться на *такой* попытке защиты, на *такой* тональности!  Злой издалека чует злого, мерзавец убежден «от живота», что мир состоит из мерзавцев, только притворяющихся добродетельными; вор уверен, что воруют все и люди делятся лишь на пойманных и поймавших. Марина Цветаева, автор поэмы «Молодец» и статьи о Пугачеве, наперекор всем очевидным фактам верит, что у самого закоренелого злодея сердце не омертвело до конца. Ей еще не приходит, по-видимому, в голову, что ее адресат — *из нечеловеков*, о которых она же знала, что они есть! Знала, раз создала еще весной тридцать девятого года эти строки, полные последней горечи:  В Бедламе нелюдей  Отказываюсь — жить.  Но писать о нелюдях и столкнуться с ними лицом к лицу — это разное. Когда они вдруг вторгаются в твою собственную жизнь — в это почти невозможно поверить; так сознание отказывается верить во внезапную личную катастрофу. Во всяком случае, Марина Ивановна еще надеется, когда пишет эти письма, что ее мужа *оговорили* — и лжи поверили. Тональность ее письма заставляет думать, что она рассчитывает на самую крохотную долю живого сердца упыря, — может быть, оно еще способно откликнуться на доверительный голос!  Она еще надеется вывести Минотавра из убежища зла — «по ниточке добра», хотя бы ненадолго. Хотя бы ради одного-единственного доброго дела…  Все еще верит — в декабре страшного для нее тридцать девятого года.  Не потому ли еще теплится в ней эта безумная вера, что к моменту написания она не могла не знать от Пастернака, что несколько лет назад аналогичное письмо Ахматовой Сталину — помогло! Муж и сын Анны Андреевны были освобождены тогда почти сразу. Правда, впоследствии их снова арестовали — но это уже другой вопрос.  (Почему миновала Цветаеву судьба «жены врага народа»? Кто может дать ответ! 4 Советская практика говорит только о том, что правила в этом — как и во многом другом — не существовало. Спасли ли ее от ареста причуды чьей-то «высокой» милости? — или простого недосмотра? обычной российской неразберихи? Из самого ближайшего круга Эфрона были уже арестованы жены Афанасова и Шухаева… Марина Ивановна могла знать об этом. С 1937 года в Мордовии, в Потьме, уже существовало специальное отделение в лагере: для «членов семьи» репрессированных «врагов народа». На высоком уровне считалось, что все они — потенциальные мстители за родных!)  Позже она будет вспоминать, какой страх она испытывала в Голицыне чуть ли не каждую ночь. То было ожидание ареста, почти полная уверенность в том, что рано или поздно это случится. Ибо из всех обитателей болшевского дома уцелели только она и Мур.  В январе 1940 года каждого из арестованных обитателей болшевского дома непременно спрашивают о Цветаевой.  7 января 1940 года на очередной допрос вызван Клепинин. И в этот день его допрашивают *только о* Марине Ивановне. Обычно арестованным задавали вопросы о нескольких лицах — требовался материал для новых арестов или для нажима на уже арестованных.  Но в этот день ни о ком больше Николая Андреевича не спрашивали.  Очень похоже на то, что допрос этот — реакция на полученное в недрах Учреждения письмо Марины Ивановны в защиту мужа. Прошло как раз две недели с момента написания послания. Самое время заинтересоваться автором!  Да, отвечает Клепинин, он знает Цветаеву с начала 1927 года. Но сблизились они позже, в середине тридцатых годов, когда Клепинин стал постоянно бывать на квартире Эфронов, а Эфрон и Цветаева бывали у Клепининых.  (Николай Андреевич изо всех сил лавирует между Сциллой и Харибдой: он явно хотел бы и Цветаеву защитить, и удержать доверие следователя к собственному полному раскаянию.)  — Цветаева, — записано в протоколе, — человек очень своеобразный. Все ее интересы сосредоточены на литературе. Кроме того, она резко выраженный индивидуалист и человек несоциальный по природе. Она часто говорила, что хотела бы жить лет сто или двести тому назад, потому что все современное ей чуждо и неприятно…  Ее политические убеждения? На этот вопрос очень трудно ответить. Обычно она противоречит тому человеку, с которым в данный момент говорит. |

22

|  |
| --- |
| Говоря с белоэмигрантами, она неоднократно высказывала просоветские взгляды, а говоря с советскими людьми, защищала белоэмигрантов.  Весь строй СССР и коммунизм ей чужды. Она говорила, что приехала из Франции только потому, что здесь находятся ее дочь и муж, что СССР ей враждебен, что она никогда не сумеет войти в советскую жизнь. Подобные разговоры она вела очень часто. Смысл их заключается не в том, что она критиковала какую-то сторону жизни СССР, но в том, что весь строй СССР, его идеология, его дух для нее неприемлемы и она никогда не сможет принять их. Хотя при этом она никогда не указывала на тот политический и социальный строй, который она бы предпочитала.  Да, в связи с арестом сначала сестры, а потом дочери и мужа ее недовольство приняло более конкретный характер. Она говорила, что эти аресты несправедливы. Насколько я знаю, она была совсем не в курсе шпионской и антисоветской деятельности своего мужа, и он, опять-таки насколько я знаю с его слов, не посвящал ее в это…  — С кем она была знакома до приезда в СССР?  — Ее связи во Франции были чрезвычайно обширны, так что я даже затрудняюсь их перечислить…  То есть на всякий случай он уходит от конкретных имен.  Клепинина будут еще дважды спрашивать о Цветаевой: на допросе 19 февраля и 4 июля 1940 года. 5 В том и другом случае настойчиво ставится вопрос о круге общения Марины Ивановны — во Франции и по возвращении. Ответы Клепинина надо признать крайне аккуратными. Отвечая, он обычно оперирует психологическими характеристиками, и это позволяет ему провести свою линию. По существу, это все-таки линия защиты.  Очень кстати Николай Андреевич сообщает следователю о неуживчивом характере Цветаевой, из-за которого она давным-давно поссорилась, например, со Святополк-Мирским (он к этому времени уже арестован). Подчеркивает, что круг друзей Сергея Эфрона был совсем не тот, что у его жены. Общались они, говорит Клепинин, совершенно с разными слоями русской эмиграции. Он убежден, что жена не была осведомлена, чем на самом деле занимался ее муж…  Из советских писателей, приезжавших в Париж и встречавшихся с Цветаевой, названы только Маяковский, Пастернак и Алексей Толстой. Хотя могли быть названы Бабель и Пильняк — уже арестованные теперь. Среди друзей Марины Ивановны во Франции упомянуты политически нейтральные имена Ходасевича, Ремизовых, Бальмонта, Волконского, Головиной, Анны Ильиничны Андреевой и ее сыновей — их можно спокойно называть, ибо никого из них нет в Советской России.  Впрочем, не только по отношению к Цветаевой Николай Андреевич держится той же линии. Отвечая на вопрос, чем именно занималась по возвращении его жена Нина Николаевна, Клепинин утверждает, что в НКВД ей не поручали ничего интересного и от этого она испытывала явное чувство обиды. Чтобы не травмировать ее самолюбие, Николай Андреевич давно перестал задавать ей вопросы. Потому он и не в курсе ее реальных дел… Если же его спрашивают о конкретных занятиях Эфрона, Клепинин жалуется на «манию конспирации» у Сергея Яковлевича. Тот постоянно играл в секреты, записано в протоколе допроса, это было просто смешно…  Однако защитить Эфрона всерьез Клепинин не может.  Ибо капитулянтская версия, на которую он согласился на первом же допросе, без фигуры руководителя не проходит.  Версия создана следствием с очевидной помощью П. Н. Толстого. Но кто знает, в чьих устах она прозвучала впервые? Может быть, на допросах Святополк-Мирского, или Романченко, или еще кого-нибудь — из тех, кого арестовали раньше…  Клепинин, во всяком случае, не сопротивляется тому, что ему навязывают. Он согласился признать себя французским шпионом уже при первой встрече со следователем. К концу второго допроса он согласен, что был агентом еще английской и бельгийской разведок. Евразийцы, выступающие в союзе с троцкистами и как агенты зарубежных разведок, — эту галиматью Клепинин со временем даже начинает обставлять множеством подробностей.  Эфрону, который играл одну из руководящих ролей в евразийстве, отмечает Клепинин на допросе 19 февраля 1940 года, удалось собрать вокруг себя значительную группу лиц: Толстой, Смиренский, Ларин, Балтер, Тверитинов, Позняков, Струве, Палеолог, Эйснер, — более двадцати человек. И в тридцатые годы началась усиленная переброска кадров в СССР.  Их первая задача по приезде состояла в сближении с журналистскими кругами, писательскими и военными. Но этот план, утверждает Клепинин, лопнул по вине недальновидного руководства НКВД. Оно пересажало тех, за кем гораздо лучше было бы следить… Неглуп был Николай Андреевич, царствие ему небесное. То руководство НКВД, которое он сейчас обличает, уже сидит в это время в соседних с ним камерах.  2  В самом конце января 1940 года арестован последний участник группы, которая предстанет перед Военной коллегией Верховного суда, объединенная общим обвинением и общим приговором. Этим последним стал Николай Ванифатьевич Афанасов, вернувшийся в СССР в 1936 году.  Он жил и работал теперь в Калуге; 29 января 1940 года был увезен в машине НКВД прямо с работы, так что родные узнали о его местонахождении лишь спустя долгий срок.  Разоблаченная морока - i_028.jpg  *Николай Ванифатьевич Афанасов*  Афанасов также из числа давних друзей Эфрона. Мальчишкой он убежал на Гражданскую войну, примкнул к Добровольческому движению; после поражения белых жил в Болгарии, работал шахтером и лесорубом, потом переехал во Францию. Когда выходила газета «Евразия», он ведал экспедицией, помогал распространять тираж и жил некоторое время прямо в редакционном помещении в предместье Парижа — Кламаре.  Как Эфрон и Клепинины, Афанасов стал секретным сотрудником советской разведки в Париже. В середине тридцатых годов с каким-то особым заданием он ездил в Германию под конспиративным именем «Клаус». Этого оказалось достаточно, чтобы теперь ему предъявили обвинение в шпионаже в пользу германской разведки. Где-то он пересекся с известным русским писателем-эмигрантом Романом Гулем — и это уже квалифицировано как передача неких секретных сведений в распоряжение гестапо. Его имя всплыло в показаниях Литауэр и Клепинина, в контексте явно компрометирующем. Позже, на заседании Военной коллегии Верховного суда, Афанасов будет пытаться опровергнуть эти показания.  Эфрона спрашивают об Афанасове в марте. Как и в других случаях, Сергей Яковлевич дает сухую фактографическую справку, особенно подчеркивая «рабочие» профессии Николая Ванифатьевича.  — С какой целью он приехал в Советский Союз? — задает свой вопрос следователь.  — С целью работать на родине, — отвечает Эфрон.  Мне не пришлось, к сожалению, ознакомиться со следственным делом Афанасова. Однако на суде он виновным себя не признал и, видимо, сломить его, как и Эфрона, не удалось.  Пройдет целых полтора месяца после очной ставки с Клепининым и Литауэр, прежде чем Эфрона снова вызовут на допрос.  Чем было заполнено это время? Болезнь? Новая порция пыток? Или попросту следствие занято другими? Ответа мы не узнаем. Но в протоколе допроса от 15 февраля подпись Эфрона ужасна, почти неузнаваема.  Кажется, что она сделана пером, едва удерживаемым в руках. Но показания те же.  — Может быть, вы начнете давать показания? Ваши сообщники уже полностью вас изобличили…  Ответ Эфрона:  — Начиная с 1931 года никакой антисоветской деятельностью я не занимался. В своей работе я был связан с советскими учреждениями, и моя работа носила строго конспиративный характер.  — Характер вашей конспиративной работы, связанной с советскими учреждениями, — записано в протоколе, — следствие не интересует. Расскажите о той, которую вы скрывали от советских учреждений.  — Таковой не было. Как секретный сотрудник я был постоянно под контролем соответствующих лиц, руководивших секретной работой за границей. |

23

|  |
| --- |
| Последняя фраза арестованного на этом допросе снова фиксирует его физическое недомогание:  — Прошу прервать допрос, так как я не совсем хорошо себя чувствую…  Не совсем хорошо… Стали бы в стенах Лубянки обращать внимание на это «не совсем»…  3  Отметим очевидный факт: следствие явно уклоняется от рассказа Эфрона о его *реальной* деятельности в советских спецслужбах во Франции. Ничего неожиданного здесь нет: интерес к истине у сотрудников Берии не больше, чем был во времена Ежова и Ягоды.  И все же трудно не испытать разочарования: так ценна была бы возможность узнать, что называется, из первых рук о конкретностях секретной работы и об истории убийства Игнатия Рейсса. Ибо, как было уже отмечено, Сергей Яковлевич достаточно откровенен в том, во всяком случае, что касается его собственных действий. Он не создает версий, не подтасовывает факты, может разве что уклониться от подробностей.  В протоколах показаний Эфрона эпизод с убийством Рейсса всплывает только однажды — 29 марта 1940 года (это одиннадцатый допрос). Подследственного спрашивают о Дмитрии Смиренском. И Эфрон говорит о нем, среди прочего, как о человеке, который участвовал в предварительной подготовке «дела Рейсса», но не в самом акте убийства.  — Откуда вам это известно? — спрашивает следователь.  — От лиц, которые были прямо или косвенно замешаны в это дело, — отвечает Эфрон, — от Клепининых, Кондратьева, от самого Смиренского…  Уточняющих вопросов больше не задают — или они не зафиксированы в протоколе. Эфрон же верен себе: он отвечает в таких случаях без подробностей.  Крайне интересны для прояснения вопроса показания Клепинина.  Он, который чуть ли не с первого допроса охотно говорит о своей «предательской шпионской работе», о вероломстве, двурушничестве и всем прочем — в том наборе, который ему стандартно предлагается следователем, — касаясь «дела Рейсса», упорно повторяет одно: ни он, ни Эфрон прямого отношения к лозаннской «акции» не имели! Между тем, в его теперешней ситуации явно героичнее и выгоднее было бы приписать себе перед НКВД как раз активную роль: ведь в Швейцарии был убит «невозвращенец», «предатель»!  Но Клепинин рассказывает иное. Еще за полгода до того Эфрон «получил другое задание», сам же Клепинин, по его словам, узнал об убийстве Рейсса в Лионе из газет. Подвел его Вадим Кондратьев, действительно входивший в группу преследования. Он заявился в их дом в Исси-ле-Мулино спустя несколько дней после «акции» — перед тем как исчезнуть из Франции. Тем самым была брошена тень на Клепининых, бывших с Кондратьевым в родстве. Потому его и его жену вызвали тогда в полицию для допроса. Что же касается Эфрона, то его связи с советским полпредством были уже широко известны.  Так они оба и оказались на виду у полиции и прессы.  Через месяц с небольшим после убийства тот и другой получили от своего «секретного» начальства приказ немедленно отправиться в Гавр, сесть на пароход «Андрей Жданов» и навсегда покинуть Францию. Приказ был передан им через посредника и не подлежал обсуждению. Но, как утверждает Клепинин, сама поспешность их «эвакуации» была ошибкой и глупостью — тем самым советские спецслужбы расписались в своей причастности и к убийству Рейсса, и к похищению генерала Миллера. С другой стороны, их бегством, получившим широкую огласку, охотно воспользовалась французская полиция. Она могла теперь громко уверять публику, что сделала все от нее зависевшее: подлинные убийцы обнаружены, но — увы! — только что скрылись. Дело отныне могло быть закрыто, — по крайней мере, на стадии поисков виновных. Так говорит на допросах Клепинин.  Эти показания, мне кажется, очень важны для тех, кто действительно хотел бы наконец разобраться, кто есть кто. К чему бы Клепинину в этом вопросе сочинять? Между тем, в этих признаниях, не один раз повторенных в протоколах его допросов, — разгадка репутации, какая закрепилась за Эфроном (и Клепининым) больше чем на полстолетия. Не только французской полиции, но и советским спецслужбам было выгодно выставить Эфрона чуть не главным виновником швейцарского убийства: одни объявляли таким образом об успешном завершении своих расследований, другие укрывали подлинных организаторов и исполнителей преступления.  Направленность дознания органов НКВД во второй половине тридцатых годов определена жестким стандартом, совершенно не зависящим от реальных обстоятельств арестованного. Предъявляемые обвинения не имеют, как правило, почти никакого отношения к действительным причинам, по которым тот содержится в заключении. Характер обвинения продиктован всякий раз соображениями «государственными», почти полностью игнорирующими конкретную личность и ее биографию. Мы знаем об этом уже достаточно; но живое знакомство со следственными делами еще раз подтверждает известное.  «Государственный» же — на уровне Берии и Сталина — замысел в отношении Эфрона и его товарищей, весьма похоже, заключался в возможности организовать еще один шумный политический процесс — в развитие предыдущих.  Как известно, Рыкова и Бухарина НКВД уже попытался обвинить в преступных связях с русской эмиграцией в Париже; Пятакову инкриминировалась связь с Троцким и зарубежными троцкистами.  Как соблазнительно было теперь продолжить начатую тему! В глазах Сталина и Берии бывшие эмигранты, приехавшие в Советский Союз, замаранные участием в «евразийском движении», да еще с таким козырем, как встреча одного или нескольких руководителей движения с самим Пятаковым, — это была добыча и удача!  Упустить их было нелогично. Они даже слишком годились для очередного публичного разбирательства.  Естественно, что в этом случае возглавить «преступную группу» эмигрантов («засланных в СССР иностранными разведками и действовавших здесь в тесном сотрудничестве с недобитыми троцкистами») должен был бы именно Эфрон. Его организаторская роль, в том числе и в получении от советского посольства в Париже разрешений на въезд в Союз, достаточно обрисовалась в процессе всех допросов.  Испытанными средствами следствие расширяет на Сергея Яковлевича «изобличительный» материал. Так, с помощью П. Н. Толстого оно сочиняет связи Эфрона с кругом ленинградской интеллигенции, недовольной сталинским режимом и якобы замышлявшей террористический акт против вождя. У троих ленинградцев, арестованных по оговору Толстого (А. В. Введенского, Я. И. и А. Я. Стрелковых), выжимают «признания», подтверждающие эти преступные замыслы. Но, кроме замыслов, речь тут идет и о шпионских сведениях, якобы переправлявшихся из Ленинграда в Париж через сотрудницу Ленинградского морского порта Сланскую. Сланская, как уже говорилось, на допросах обвинение это характеризовала как чистую фантазию Толстого.  Характер допросов Эфрона после февраля изменился. Кажется, что следствие к этому времени уже потеряло надежду получить желанный самооговор. Сценарий нового «показательного» процесса срывался, — во всяком случае, Эфрон явно не годился на роль чистосердечно кающегося главаря «банды эмигрантских шпионов и троцкистов».  Теперь Сергея Яковлевича спрашивают в основном о конкретных лицах. И называют одно за другим имена вернувшихся в СССР эмигрантов, требуя сведений об их антисоветских взглядах и действиях. Большинство уже арестованы, другие ждут той же участи.  Показания, которые дает Эфрон, максимально осторожны и неизменно доброжелательны. Это сугубо фактологические сведения: история знакомства, известные ему биографические данные. И при каждом удобном случае он подчеркивает просоветские настроения и самые чистые цели возвращения, тем более что это было святой правдой.  2 апреля ему предлагают перечислить всех, кого он лично завербовал для секретной работы в советских спецслужбах за рубежом. В ответе Эфрона приведен целый список — двадцать четыре фамилии, с конкретными датами привлечения их к сотрудничеству. Среди тех, кто оказался им привлечен в первую очередь, имена Константина Родзевича и его жены Марии Сергеевны, супругов Клепининых, Веры Сувчинской (будущей Трейл) 6 — все это в прошлом евразийцы и личные друзья Эфрона. Большинство из завербованных, указывает он, поддерживали связь с представителями советских органов через него, Эфрона, и только некоторые выходили на связь сами. |

24

|  |
| --- |
| Названы в этом допросе и имена тех сотрудников НКВД в Париже, в чьем непосредственном подчинении находился он сам: это прежде всего Кислов, кроме того — Жданов, Азарьян, Г. И. Смирнов. Реальные ли то были фамилии — сказать трудно.  — Сообщите, кого вы завербовали во французскую разведку, — спрашивает Эфрона лейтенант Копылов.  — Я никого и никогда ни в какую иностранную разведку не вербовал, — отвечает подследственный.  — Вы лжете. Следствие располагает достаточными материалами, опровергающими ваше утверждение…  *Фиксированная* часть допроса на этом обрывается.  В «деле» Эфрона, как уже говорилось, — восемнадцать протоколов допросов.  Но можно быть уверенным, что на самом деле допросов было больше. Известно из сложившейся тогда практики, что протоколы составлялись далеко не всегда. Еще раз повторю и другое: что самый добросовестный пересказ протоколов — даже и полная их публикация! — реальной картины происходившего в застенках советских тюрем того времени не только не передаст, но можно уверенно сказать, что прямо ее исказит.  Ибо слишком важное и страшное остается за кадром. Соблюдена видимость прямой трансляции, но изображение отсутствует, звук приглушен, и в протоколах допросов мы слышим словно бы механический голос, читающий убогую выжимку реально сказанного там, по ту сторону экрана…  Последний, восемнадцатый, протокол имеет дату 5 июля 1940 года.  А 13-м июля того же 1940 года помечено обвинительное заключение, утвержденное заместителем военного прокурора СССР Афанасьевым.  Трудно найти ответ на вопрос: почему же еще целый год после этого откладывалось вынесение приговора? Ибо он будет вынесен только 6 июля 1941 года, спустя три с лишним недели после начала Отечественной войны.  Работа на Лубянке, естественно, кипела и в сороковом — сорок первом, хотя и сбавила обороты.  Не искали ли замену Эфрону на роль лидера?  А если отказались от этого замысла — почему продолжали держать в Москве?  Из показаний Ариадны Эфрон несравненно труднее, чем из показаний Сергея Яковлевича, вычленить элементы правды. 7 Ибо после злополучного допроса 27 сентября она принимает (как многие и многие, напомним, оказавшиеся в застенках всемогущего ведомства в тридцатые годы!) предложенный следствием путь «версии на выживание». И это вынуждает ее — как и других — густо смешивать реальность с фантазией, не только применительно к собственной биографии, но и в характеристиках тех лиц, о которых ее спрашивают. Не нам, умудренным всем, что мы теперь знаем, осуждать за это двадцатисемилетнюю молодую женщину. И все же скажу о впечатлении, которое складывается при внимательном чтении дела Ариадны.  Это впечатление можно свести к тому, что иллюзии, с которыми дочь Эфрона и Цветаевой так сжилась в свои юные годы и которые заставили ее вернуться в Советскую Россию еще весной 1937 года — раньше всех других членов семьи, — эти иллюзии не утратили над ней своей силы даже тогда, когда сама она оказалась в жерновах беспощадной машины следствия. Чара «великого эксперимента», по которому якобы шла ее родина на путях создания самого справедливого общества в мире, так долго созревала в ней вдали от предмета обожания, что освободиться от нее было нелегко.  Разоблаченная морока - i_029.jpg  *Ариадна Сергеевна Эфрон после лагерей*  Пример отца сыграл в этом, скорее всего, решающую роль. С младенческих лет он в ее глазах — образец рыцарства, мужества, благородства, почти отождествленный еще в годы его участия в Белом движении с образом святого Георгия, вышедшего на борьбу со злым змием. Образ этот возрос на культе отца, который царил в их доме, — и на поэтических строфах матери времен Гражданской войны. Он сохранил свою силу и в эмиграции.  Дочь *не могла не верить* в то, во что верил ее отец; он был для нее большим, чем авторитет истины, то был авторитет *чистого сердца*. Аля была свидетелем его горения и бескорыстия, она воспитывалась на них — и явно считала себя сподвижницей отца.  Его секретное сотрудничество с советским представительством в Париже не было для нее тайной. На каком-то этапе отец посвятил Алю в свою особую миссию при парижском «Союзе возвращения». И помог ей «войти в дело»: объединить при «Союзе» подрастающее поколение русских эмигрантов. Это составляло предмет гордости дочери — чувство, стойко удержавшееся до конца ее жизни. Сотрудничество отца было секретным — значит, опасным, а участие в опасном — если оно освящено высокой идеей — благородно. В величии же идеи, которой был движим отец, ей никогда не пришло в голову усомниться!  Вот почему то, что происходило теперь, осенью 1939-го и весной 1940-го, представлялось ей ужасной, но частной ошибкой. «Я не могла понять, кому и для чего это нужно, — писала А. С. Эфрон в заявлении, посланном из Туруханска 15 лет спустя на имя министра внутренних дел Круглова. — Только разоблачение Берии дало мне на это ответ…»  (Увы, в этих строках слышен голос вполне рядового человека тридцатых годов, так охотно хватавшегося за версии «вредительства». Хотя можно, пожалуй, предположить и вполне сознательную спекуляцию «зэка» на разоблачении очередного врага.)  О разрушительном воздействии на мораль и психику современников культивируемого помешательства на «вредителях» говорят не часто. Между тем, оно проросло болезненной подозрительностью, разъедающей человеческие связи. Я вспоминаю об этом потому, что в иных текстах Ариадны и в моих с ней беседах проступало то смещение ценностей, которое последовательно (и успешно!) внедрял в сознание и психику людей сталинизм.  Обращу снова внимание на одну существенную деталь, мимо которой может пройти читатель. С презрением, не требующим пояснений, мы произносим сегодня слова «агент ГПУ», «агент НКВД». Для нас они означают причастность к кровавым преступлениям зловещей организации — внутри страны и за рубежом. Но в устах и Ариадны, и ее отца, в устах Афанасова, Клепининых и Эмилии Литауэр неизменно звучало другое слово: разведчик. И если пытаться понять трагедию эмигрантов, втянутых в сети «сотрудничества», нельзя это сбрасывать со счетов. Дабы не смешать воедино как подлых, так и обманутых. Извлечь какие-то уроки из истории можно только отказавшись от черно-белого восприятия мира и скоропалительных обличений. Ибо они тоже — наследие большевизма.  4  С арестом дочери и мужа Марина Ивановна оказалась без всяких средств к существованию. Но теперь ей надо было зарабатывать еще и на передачи в тюрьму. И зима и весна 1940 года проходят под двойным знаком: страха и напряженной работы над переводами.  Пастернак помог получить заказ на переводы национальных поэтов по подстрочникам. Цветаева начинает переводить болгарских поэтов и английские баллады о Робин Гуде, затем надолго погружается в тексты трех поэм грузинского классика Важа Пшавела: «Гоготур и Апшина», «Раненый Барс» и, наконец, огромная «Этери». Марине Ивановне не нравится эта растянутая поэма, смущают и незнакомые реалии грузинского быта, и особенности фонетической транскрипции, ритмического строя языка. Но халтурить она органически не может, и потому темп ее работы — черепаший. Пастернак пытается умерить ее добросовестность — «так не заработаешь!». Тщетно.  Голицыно Цветаева с сыном покидают одиннадцатого июня. Почти три месяца они живут в университетском доме на улице Герцена. Здесь в их распоряжении квартира, любезно предоставленная профессором Габричевским, уехавшим с семьей на лето в Коктебель. Это тоже помощь Пастернака, хотя и опосредованная.  В конце лета таможня разрешила, наконец, Цветаевой получить ее багаж, вывезенный из Парижа. Это тюки с одеждой, кофры и ящики с огромной библиотекой. Поиски своего жилья все еще не дали никаких результатов, и нервное состояние Марины Ивановны к концу августа предельно обострено. Перебраться со всеми вещами теперь совсем некуда — крошечные комнатки в коммунальной квартире Елизаветы Яковлевны Эфрон в Мерзляковском переулке для этого никак не годятся. |

25

|  |
| --- |
| Кроме того, Цветаева панически боится жить без прописки — это строго запрещено. Отчаяние достигает предела в самом конце августа и первых числах сентября. Пастернак, Эренбург, Асеев, с которым она теперь уже знакома и который, как кажется, благоговеет перед ней как поэтом, — все уверяют, что бессильны помочь. Подтверждением глубочайшей депрессии выступает первая запись Марины Ивановны, помеченная пятым сентября 1940 года в тетради, пришедшей с грузом из Франции. Пятое сентября — это день рождения Ариадны, и поначалу Цветаева отрывочными фразами описывает утро первого ареста в Болшеве. И далее пишет: «Меня все считают — мужественной. Я не знаю человека робче себя. Боюсь — всего. Глаз, <нрзб.>, шага, а больше всего — себя, своей головы, если это голова — так преданно мне служившая в тетради и так убивающая меня в жизни. Никто не видит, не знает, что я год уже приблизительно ищу глазами крюк…» Она перебирает варианты самоубийства: глотать? прыгнуть с моста? Но нигде нет никаких «люстр» (то есть крюков)… плюс к тому — «исконная отвратительность воды»… «Я не хочу умереть. Я хочу не быть. Вздор. Пока я нужна… Но, Господи, как я мала, как я ничего не могу! Доживать — дожевывать. Горькую полынь. Сколько строк миновавших! Ничего не записываю. С этим кончено».  Важный момент: предшествовало этой записи посещение Цветаевой ЦК партии.  В ЦК ее пригласили прийти в ответ на отчаянную телеграмму, посланную за несколько дней до того на имя Сталина. (Ох, пора бы уже составить книгу из писем талантливейших российских литераторов к вождю всех народов! Булгаков, Ахматова, Цветаева…)  Второй раз Цветаева обращалась к вождю. На первое письмо ответа не последовало. Теперь речь шла уже не о судьбе мужа, а о ней самой и сыне.  К этому времени Марина Ивановна использовала все каналы, которые сама могла придумать и какие подсказывали ей друзья, чтобы разрешить жилищную проблему. Объявления в газетах ни к чему не привели, авантюристка-маклерша долго водила за нос, пока не исчезла вместе с огромным задатком. Письма в Союз писателей Фадееву и Павленко тоже не дали результатов. В Белокаменной, некогда воспетой в ее стихах, не находилось места, куда она могла бы поставить свои чемоданы.  27 августа 1940 года Мур записал в дневнике, что у матери состояние самоубийственное. В этот день и была послана телеграмма в Кремль. От полной безнадежности. «Помогите мне, в отчаянном положении. Писательница Цветаева» — таков был текст телеграммы. И 31-го ее вызвали. Разумеется, не к Иосифу Виссарионовичу. С Цветаевой весьма предупредительно беседуют в одном из отделов ЦК. Прямо при ней звонят в Союз писателей — с предложением помочь найти жилье «писательнице Цветаевой».  Неподалеку от Кремля, в садике, Марину Ивановну терпеливо ждут Мур и Николай Вильмонт. Моросит осенний дождь.  Когда она выходит, все трое счастливы уже одним тем, что они снова вместе.  И меньше чем через месяц проблема с жильем в самом деле разрешилась: сотрудник Литфонда А. Д. Ратницкий отыскал комнату. Ее сдавал Марине Ивановне сроком на два года инженер Шукст, уезжавший работать на Север. Трудно сказать, было ли это результатом звонка из ЦК. Ибо, во-первых, Ратницкий пытался помочь Цветаевой и раньше; во-вторых, огромную сумму, требовавшуюся в уплату за комнату на год вперед, Марине Ивановне все равно пришлось собирать самой. (Львиную долю суммы дал Пастернак, остальное помогала собирать жена поэта Зинаида Николаевна.) Так что указующий звонок из ЦК в Союз писателей был, скорее всего, отработанной инсценировкой. Привычным враньем, ненадолго снявшим остроту стресса.  В дневнике Мура запись: в тот вечер на радостях они пили кахетинское сначала у Вильмонтов, а потом еще и у Тарасенковых.  В тот же день (утром? или поздним вечером?), 31 августа 1940 года, Марина Ивановна писала горькое письмо поэтессе Вере Меркурьевой.  О том, что Москва ее не вмещает. И что она, Марина, не может вытравить из себя оскорбленного чувства права. Ибо, писала она, Цветаевы «Москву — задарили»: усилиями отца воздвигнут Музей изящных искусств, в бывшем Румянцевском музее — «три наши библиотеки: деда Александра Даниловича Мейна, матери Марии Александровны Цветаевой и отца Ивана Владимировича Цветаева». Тут же Марина Ивановна напомнит и другое свое право: уроженца города. И еще право русского поэта. И еще право автора «Стихов о Москве».  Унижение провоцирует в ней мощный всплеск уязвленной гордости. Сказано все это, однако, совсем не по адресу. Но где тот адрес, тот имярек, кто измучил ее и ее близких, отнял возможность самого скромного существования? Кому еще можно было бы высказать все эти доводы, клокотавшие в сердце?  Очень возможно, что письмо это было написано 31-го утром, еще в преддверии разговора с властями, может быть, в ожидании назначенного часа. Цветаева с пером в руках выговаривала аргументы, которые — она понимала! — ей не придется высказать властям…  С конца сентября Марина Ивановна с сыном живут уже на Покровском бульваре в трехкомнатной квартире, только что превращенной в коммунальную. Комната Цветаевой невелика, метров пятнадцать, она вся заполнена распакованными и нераспакованными кофрами, тюками, сундуками так, что только посредине остался узкий проход к столу. Стол стоит вдоль окна; он обеденный и он же письменный. В средней комнате живет старшеклассница Ида Шукст, дочь хозяина квартиры, уехавшего на Север, в третьей — супружеская пара, постоянно скандалящая по поводу использования общей кухни. Соседи разговаривают с Мариной Ивановной так грубо, что, уйдя к себе, она навзрыд плачет и долго не может успокоиться. Муру ее пронзительно жалко: мать такого не заслуживает, записывает он в своем дневнике.  Разоблаченная морока - i_030.jpg  *Покровский бульвар, 14/5. Дом, где в квартире 62 Цветаева жила с осени 1940 г. до отъезда в эвакуацию*  Сам Мур поступил в очередную школу, уже пятую после приезда в СССР, он горюет, что с этими переездами не успевает обзавестись друзьями. А они ему остро необходимы в этом возрасте. У него, правда, есть друг, еще парижский, — Митя Сеземан, сын Клепининой, они жили вместе в болшевском заточении. Митя старше Мура чуть ли не на три года, он предельно прагматичен, но, как и Мур, он заядлый книгочей; оба они много читают на русском и французском и постоянно обмениваются книгами. Они охотно посещают книжные магазины и мороженицы, впрочем, любят еще и музыку, и театр. Денег у Дмитрия никогда нет, он живет со строгой бабушкой, и потому позволяет своему другу платить за двоих, — Муру мать, видимо, щедро дает на карманные расходы.  Мур страстно хочет вписаться в советскую жизнь. Он всерьез озабочен тем, что своей парижской обувью, крагами, молниями на курточке он выделяется из московской толпы. Арест сестры и отца не поколебал его коммунистических взглядов. Друзья обсуждают причины арестов близких, и тут между ними нет согласия. Сын Цветаевой убежден, что произошла просто нелепая ошибка и Алю и отца вот-вот оправдают. Он склонен думать, что Клепинины, высказывавшиеся в Болшеве так враждебно по отношению к происходящему в стране, оклеветали Эфронов, приписав им собственные суждения. Со своей стороны Митя убежден, что это Аля «продала всех». Друзья ссорятся, и все же крепко держатся друг за друга.  Десять месяцев, которые прожила Цветаева на Покровском бульваре, в центре Москвы, позволили ей резко расширить дружеские связи, что было для нее органически необходимо. Душа ее иссохла без близких людей рядом, ей так не хватает сердечного тепла. Она радостно откликается на всякое приглашение придти в гости, — бывает у Тагеров, встречается с Танечкой Кваниной, навещает дочь Бальмонта Нину Константиновну, видится с такой близкой ей четой Звягинцевой и ее мужа, посещает дореволюционных друзей — Софью Юркевич, Ольгу Мочалову, Веру Меркурьеву, Елизавету Тараховскую. Встречаясь с Алексеем Крученых, она видится в его доме и со множеством других литераторов — Константином Липскеровым, например. Пастернак сводит Марину Ивановну со своими друзьями: среди них — Н. Н. Асеев, Г. Г. Нейгауз, чета Асмусов, Вильям-Вильмонтов. Чета Тарасенковых также входит в круг общения Цветаевой. Время от времени ее зовут прочесть что-нибудь в разных домах, она читает «Попытку комнаты», поэму «Молодец», «Повесть о Сонечке», отдельные стихи. Доброжелатели готовят прием Цветаевой в группком переводчиков при Союзе Писателей, и весной 1941 года Марина в этот группком вступает. Она сближается и с теми переводчиками, которых Нина Яковлева, возглавлявшая группком, регулярно собирает у себя дома. Здесь, в частности, происходит знакомство Марины Ивановны с Арсением Тарковским, Элизбаром Ананиашвили, Вильгельмом Левиком. Есть, правда, немало людей, которые пугливо сторонятся «белоэмигрантки», у которой к тому же арестованы дочь и муж. Понимая это, Цветаева не проявляет активности в знакомствах, она и сама побаивается людей малознакомых. |

26

|  |
| --- |
| Но случайно встретив у Звягинцевой молодого поэта Семена Липкина, она приглашает его на прогулку вдвоем по городу. Липкин не из пугливых, он польщен, они встречаются на следующее же утро и проводят чуть не весь день вместе. Позже поэт живо описал эту прогулку. Обычно Цветаева водит своих друзей по старым знакомым местам: по Замоскворечью, Трехпрудному переулку, посещает вместе с ними музей, созданный волей и усилиями ее отца.  В воспоминаниях Липкина об этом дне два момента особенно значимы — полный неинтерес Марины Ивановны к посещению «шикарных» мест, и еще одно: эпизод с литераторами, случившийся в ресторане «Националь», куда они все-таки зашли. Цветаева оказывается тут свидетельницей ссоры литераторов, и может быть впервые слышит слово, рожденное в сталинской России: «стукач»… Спустя всего несколько месяцев, в Елабуге, у нее будет случай столкнуться с этой реальностью, которая существовала тогда в стране отнюдь не виртуально.  Во всяком случае, достоверным фактом можно считать то обстоятельство, что теперь уже в литературных кругах Москвы возвращение Марины Цветаевой вышло из тени и воспринималось как заметное событие.  В конце года она энергично принялась за составление своего поэтического сборника. Некий человек из Гослитиздата уверил ее, что выпуск такого сборника возможен. Она слабо верит в это, даже и совсем не верит. Но все же принимается за дело с присущим ей рвением. Ведь, кроме желания дать читателю себя-поэта, играла немалую роль и надежда на гонорар — они тогда были весьма солидными. Под этот гонорар она еще прошлой осенью одалживала деньги на квартиру, то есть какое-то время все же верила в реальность предприятия! И она доводит-таки дело до конца, представив уже в 1940 году в редакцию издательства машинописный экземпляр книги, включив в нее избранные стихи из сборников «Ремесло» и «После России». Она расположила стихи в хронологическом порядке, как это было в большинстве ее прежних поэтических сборников. Но — с важнейшим отступлением! Открывался сборник стихотворением «Писала я на аспидной доске…», посвященным «С. Э.», то есть мужу. В обновленной редакции стихотворение звучало так:  Писала я на аспидной доске,  И на листочках вееров поблёклых,  И на речном и на морском песке,  Коньками по́ льду и кольцом на стеклах, —  И на стволах, которым сотни зим,  И, наконец, — чтоб было всем известно! —  Что ты любим! любим! любим! — любим! —  Расписывалась — радугой небесной.  Как я хотела, чтобы каждый цвел  В века́х со мной! под пальцами моими!  И как потом, склонивши лоб на стол,  Крест-на́крест перечеркивала — имя…  Но ты, в руке продажного писца  Зажатое! Ты, что мне сердце жалишь!  Непроданное мной! *внутри* кольца!  Ты — уцелеешь на скрижалях.  Да, вот так — именно теперь, когда злая беда сомкнула свои волны над головой дорогого человека. Любила, люблю и буду любить, что бы ни происходило в этом мире. Прежде это стихотворение, написанное еще 5-го мая 1920 года, она никогда не публиковала. Поступок чисто цветаевский, — его питают бесстрашие и благородство.  Сборник был беспощадно зарублен в недрах издательства. Палачом-рецензентом оказался критик Корнелий Зелинский, один из знакомцев Цветаевой по Голицыну. Текст его шестистраничного омерзительного отзыва ныне известен. Там есть всё: сведения об авторе, который жил в окружении врагов советской власти и печатался в белоэмигрантских изданиях, обвинение в формализме, пустоте, бессодержательности стихов, тезис о коренной чуждости советской поэзии. И прочее в том же духе. Кажется, более всего задело Цветаеву обвинение в формализме; в записи на отзыве она назвала это обвинение «просто бессовестным». И добавила, подчеркнув: «*Это я говорю — из будущего.* М.Ц.» (Зелинский был плодовит, печатался много, но в историю литературы войдет именно и только этим — бессовестным отзывом на стихи великой Цветаевой. Справедливость судьбы.)  В начале декабря 1940 года она закончила перевод стихотворения Шарля Бодлера «Плаванье». Эта работа стала для нее наслаждением. Широкое дыхание, гордость и счастье творца — будто сама она создала этот текст, близкий ей всем своим пафосом… «Спасибо», — записывает она в тетради по окончании работы. Не себе «спасибо», конечно. Но тут же в рабочей тетради — жалоба: «Пока я буду переводить других, — кто будет писать мое? Меня?..» И через пару страниц: «Когда меня спрашивают: Почему вы не пишете стихи? Как Вы можете не писать? — я задыхаюсь — от негодования. — Какие стихи? Я всю жизнь писала от избытка чувств. Сейчас у меня избыток каких чувств? Обиды. Горечи. — Одиночества. Страха. В какую тетрадь — писать такие стихи?? <…> Как я сейчас могу, когда мои… Если бы я этой книгой могла спасти *тех*… *<…>* Слава? Она мне не нужна. Деньги? Пойдут кредиторам. А главное, что все это случилось со мной — *веселой, живой, любящей* (все и всякого), доверчивой *(даже сейчас…)* За что? И — к чему? Ни умнее, ни лучше я от этого не стала, только писать перестала — и быть перестала. Разве я — живу? Разве это я — живу?»  Писать перестала — и быть перестала…  Отложи на время книгу, читатель. Наступает 1941-й год.  5  За полмесяца до начала войны судьба подарила Цветаевой встречу с Анной Андреевной Ахматовой.  Они увиделись на Большой Ордынке, 17, в квартире писателя Виктора Ардова, знакомого Цветаевой по Голицыну, и его жены актрисы Нины Ольшевской. Супруги давно дружили с Ахматовой, часто останавливавшейся у них во время своих наездов в Москву. Цветаева пришла по приглашению Ардова и провела на Ордынке — по одним сведениям, два-три часа, по другим — все шесть. Разговаривали Ахматова и Цветаева наедине, сначала в столовой (она же гостиная), а затем в крошечной комнатке, отведенной здесь Анне Андреевне, — там можно было поставить всего один стул.  В этот день они увиделись впервые, хотя еще с 10-х годов знали друг о друге. Марина посылала в Петроград с оказией свои стихи, посвященные Анне Андреевне, а в тяжком 1921-м, когда до Москвы дошло известие о расстреле Гумилева, — письма и подарки. В ответ Ахматова прислала тогда свой сборник «Белая стая» и короткую записочку.  Молодая Цветаева, мы помним, была горячей поклонницей ахматовской поэзии. В 1916 году она посвятила своей современнице (Ахматова старше Марины на три года) цикл стихотворений. Позже еще дописала цикл.  Летом 1940 года вышел в свет, после многолетнего перерыва, сборник Ахматовой «Из шести книг». В дневнике Георгия Эфрона отмечено, что очередь в книжный магазин, где была объявлена продажа книги, занимали с четырех часов утра. Книгу они, тем не менее, достали. И перечитывая теперь некогда столь любимые строфы, Цветаева неожиданно испытывает разочарование. Запись в ее тетради: «Вчера прочла, перечла — почти всю книгу Ахматовой и — старо, слабо. Часто (плохая и верная примета) совсем слабые концы, сходящие (и сводящие) на нет…» И дальше: «Но что она делала с 1917 по 1940 г.? Внутри себя. Эта книга и есть непоправимо-белая страница… Жаль».  Всего год назад вернувшейся на родину Цветаевой не приходит в голову авторская несвобода в составлении собственной книги. В вышедшем ахматовском сборнике не были представлены — и не могли быть представлены! — ни ее «Реквием», ни другие прекрасные ее трагические стихи 1939–1940 годов. Теперь, в маленькой комнатке Ардовых, Ахматова читает Марине Ивановне отрывки из «Поэмы без героя». Отзыв Цветаевой нам известен в передаче самой Анны Андреевны: «Она довольно язвительно сказала: “Надо обладать большой смелостью, чтобы в 41 году писать об Арлекинах, Коломбинах и Пьеро…”» Опять Цветаевой не хватило догадки, что ее собеседница, даже при встрече на квартире у своих давних друзей, не доверяла стенам и не решилась прочесть что-то другое. Анна Андреевна отчетливо почувствовала холодок. Недоразумение, естественно, не способствовало сближению. А между тем за год до этой встречи было создано первое и последнее ахматовское стихотворение, целиком обращенное к Цветаевой: «Невидимка, двойник, пересмешник…» В нем явственно звучало чувство сестринского сострадания — и соединенности в общей страшной беде, бросившей в застенок их самых близких людей. Обе знали, конечно, об арестах — сына и мужа Ахматовой, дочери и мужа Цветаевой. |

27

|  |
| --- |
| В тот же вечер, вернувшись к себе на Покровский бульвар, Марина Ивановна позвонила к Ардовым и предложила встретиться еще раз, на следующий день. Выяснилось, однако, что Ахматова уже сговорилась на этот день о встрече со своим другом литературоведом Н. И. Харджиевым у него дома в Марьиной роще. Впрочем, если Цветаева тоже придет туда, ей будут рады.  Марина Ивановна нашла себе провожатого (им оказался переводчик Т. С. Гриц) и пришла в Марьину рощу, принеся с собой переписанную от руки за ночь «Поэму Воздуха». Ей наверняка хотелось показать, как далеко она ушла от своей молодой поэзии, которую все только и знали. Об этой второй встрече мы знаем немного больше, чем о первой, ибо в ней было больше участников (кроме хозяина, еще и Н. А. Ольшевская, Э. Г. Герштейн, Т. С. Гриц).  Марина Ивановна была на подъеме, говорила, со слов Харджиева, почти беспрерывно, часто вставала со стула и умудрялась легко и свободно ходить по восьмиметровой комнатенке. Говорила Цветаева о Бальмонте, о Хлебникове, о Питере Брейгеле и недавно вышедшей «Книге о художниках» Кареля ван Мандера, о киноактере Петере Лорре — и снова о Хлебникове… «Говорила она стремительно, и в монологе ее был полет. Слова не успевали за мыслями, она не заканчивала фразу и перескакивала на другую; думая, должно быть, что высказала уже все до, конца, она перебивала самое себя, торопилась, зачастую бросая только намек, рассчитывая, что ты и так, с полуслова, с полунамека все поймешь, что ты уже всецело в ее власти, подчинен ее логике и успеваешь, не можешь, не смеешь не успевать за ней в ее вихревом полете. Это поистине был вихрь, водоворот мыслей, чувств, фантазий, ассоциаций». Так вспоминает о Цветаевой Мария Белкина.  Она настолько прекрасно «держала беседу», что, когда в конце встречи она вышла из комнаты, Анна Андреевна произнесла: «Ну, я в сравнении с ней просто телка…» Душевного сближения поэтов и на этот раз не произошло. Прочитав позже «Поэму Воздуха», Ахматова ничего в ней не поняла и высказывалась вполне категорично: «Марина ушла в заумь…» Она признавалась потом, что не решилась прочесть вслух свое стихотворение к Цветаевой из-за строк о трагической судьбе цветаевской семьи.  Есть своя закономерность в холодности этих встреч. Обе они были слишком разными, чтобы сойтись ближе, — и это ярчайшим образом выявляет поэзия той и другой. Уравновешенно-сдержанная, неизменно «воспитанная» поэзия Ахматовой и экстатически безудержная — Цветаевой; «закрытая» при всей внешней интимности Ахматова — и безоглядная в исповедальных признаниях Цветаева; певец земных радостей и печалей гармоничная Ахматова — и всегда бунтующая, непримиримая, трагедийная Цветаева, рвущаяся из земных оков. Ахматова, сохраняющая верность традиционному русскому стихосложению — и Цветаева, взрывавшая эту традиционность… Классическая Ахматова — и романтическая Цветаева, «аполлонический» художник — и «дионисийский»…  6  Только 6 июля 1941 года выездная сессия Военной коллегии Верховного суда СССР на закрытом судебном заседании рассмотрит дело по обвинению Эфрона, Клепинина, Клепининой, Литауэр, Афанасова и Толстого. Председательствует военный юрист 1-го ранга Буканов.  Обвинение «считает установленным», что обвиняемые участвовали в белогвардейской организации «Евразия», которая ставила своей задачей объединить вокруг себя все антисоветские элементы, находившиеся за границей и в СССР, и свергнуть в Советском Союзе существующий строй, что «Евразия» сотрудничала с разведками других иностранных государств, чтобы получить от них помощь для засылки в Советский Союз контрреволюционной литературы и эмиссаров, что в 1929 году через Пятакова и Сокольникова «Евразия» установила связь с троцкистским подпольем и вкупе с троцкистами вела преступную деятельность.  Наконец, что члены организации вошли с преступной целью в доверие к органам НКВД, находившимся в Париже, дабы с их помощью проникнуть в СССР и вести там шпионскую и террористическую работу.  Только Клепинин и Литауэр признают свою вину в судебном заседании. Эфрон и Клепинина признают участие в «евразийской организации» и категорически отрицают обвинение в связях с иностранными разведками и шпионаже в их пользу. Толстой не признает за собой никакой вины и отказывается от всех показаний, данных на предварительном следствии. Отрицает все предъявленные обвинения и Афанасов.  Последнее слово Сергея Эфрона записано в протоколе судебного заседания следующим образом: «Я не был шпионом. Я был честным агентом советской разведки. Я знаю одно, что начиная с 1931 года вся моя деятельность была направлена в пользу Советского Союза…»  Приговор одинаков для всех шестерых обвиняемых — высшая мера наказания. С добавлением: «Приговор окончательный и обжалованию не подлежит».  В следственном деле Эфрона под протоколом судебного заседания есть карандашная пометка. Из нее следует, что приговор приведен в исполнение: в отношении Афанасова — 27 июля, супругов Клепининых, Эмилии Литауэр и Толстого — 27 августа 1941 года.  Эфрон здесь не упомянут. Он был расстрелян позже всех других 16 октября 1941 года. Эта дата внесена вдело Эфрона только 8 августа 1989 года; справка, подтверждающая дату, подписана начальником Центрального архива КГБ И. М. Денисенко.  И последнее. Поведение Эфрона в застенках НКВД позволяет нам в полной мере оценить отношение Марины Цветаевой к своему мужу, проявленное ею на допросах во французской полиции в октябре и ноябре 1937 года. Это неколебимая и высокая преданность жены самому близкому человеку в тяжкий час испытаний — поверх всех политических расхождений. Этой преданностью будут спекулировать любители скорых обличений, имя же им — легион. «Всё знала и покрывала!» При этом — не только никаких фактов, но и никакого представления ни о личности самого Эфрона, боготворившего и оберегавшего свою семью, ни о нормах конспиративности в среде сотрудников Учреждения — просто «соображения», с явственно ощутимой сладострастной примесью наговоров («не могла не знать»). На всякий роток не накинешь платок…  Мужество и нравственная безукоризненность поведения Эфрона в застенках НКВД неоспоримы. Он не только никого не оговорил, но не позволил и себе самому уклониться от долга и правды, как он их понимал. Последовательно отвергая ложь, он не согласился участвовать в грязном спектакле, который ему предлагали. Уже эта стойкость не позволяет ставить его на одну доску с теми его «коллегами» по Учреждению, которые совершали преступления с холодным цинизмом людей, отлично знавших, кому и чему они на самом деле служат.  Другое дело, что высоких душевных качеств оказалось недостаточно, чтобы в иезуитских испытаниях, которые уготовили своему современнику тридцатые годы XX века, избежать сетей изощренной лжи и ее растлевающего влияния.  Ядовитые софизмы о «пользе отечества» обманули не одного Эфрона. Они были отработаны незаурядными «ловцами душ» с площади Дзержинского в Москве, отработаны как раз в расчете на людей, готовых к самопожертвованию во имя высокой альтруистической идеи.  Увы, расчет оправдался. И число его жертв нам еще предстоит узнать…  *Глава 5*  Елабуга  1  Любое самоубийство — тайна, замешанная на непереносимой боли. И редки случаи — если они вообще существуют, — когда предсмертные записки или письма объясняют подлинные причины, толкнувшие на непоправимый шаг. В лучшем случае известен конкретный внешний толчок, сыгравший роль спускового механизма. Но ключ к тайне мы не найдем в одних только внешних событиях. Он всегда на дне сердца, остановленного усилием собственной воли. Внешнему давлению можно сопротивляться — и поддаться ему, на всякое событие можно отреагировать так — или иначе; запасы сопротивляющегося духа могут быть истощены, а могут еще и собраться в решающем усилии.  Душевное состояние самоубийцы в роковой момент — вот главное.  Но увидеть изнутри человека в этой предельной ситуации — задача почти невозможная. Тем более когда это касается личности столь незаурядной, как личность Марины Цветаевой. |

28

|  |
| --- |
| Все это так. Оговорки необходимы. А все же наш долг перед памятью великого поэта — собрать воедино все подробности и обстоятельства, дабы полнее представить картину трагедии, последний акт которой разыгрался 31 августа 1941 года в маленьком городе Елабуге. Ибо есть в этой картине совсем непрописанные места. Оттого и распространилось так много версий гибели Цветаевой: каждая есть, по существу, попытка утолить беспокойство, которое возникает вокруг всякой тайны. Что бы ни утверждали иные знатоки, пытающиеся поставить тут точку, всякий раз получается лишь запятая — или многоточие.  Загадка Елабуги остается; быть может, она останется навсегда.  Так не будем и делать вид, что тут все уже ясно. Хотя бы потому, что есть подозрение: если объявить елабужский период в биографии поэта проясненным, это может оказаться на руку тем, кто знает о нем больше, чем мы с вами.  Вот почему я вижу смысл в том, чтобы пристальнее вглядеться в последние дни Цветаевой. И обозначить неясности, сформулировать вопросы, на которые сегодня еще нет ответов. Тогда со временем они могут обнаружиться. Расчистим же для них место.  Все, кто встречался с Мариной Ивановной в те полтора месяца, которые отделили день ее отъезда с сыном в эвакуацию от начала войны, сходятся в утверждении, что состояние ее духа было крайне напряженным и подавленным.  Причин для этого было достаточно и до 22 июня. И все же нападение Германии и стремительное продвижение гитлеровских войск в глубь страны Цветаева, по свидетельству многих, восприняла как глобальную катастрофу почти с предрешенным исходом. Незажившими ранами сердца оставались для нее судьба Чехословакии и быстрое падение Франции. В Праге и Париже жили близкие ей люди. Зримо стояли перед глазами места, где она радовалась и тосковала, мучилась над недающейся строкой и версту за верстой вышагивала по всем тропинкам и улочкам. Теперь все они: и знакомые лица, и холмистые предместья Праги, и уютные кривые переулки Медона — утонули в тени безумного фюрера.  Ей могло иногда казаться, — с ее-то отношением к мифу как к закономерности бытия, проступающей сквозь быт! — что это ее саму неумолимо настигает цокот копыт того коня со Всадником, от которого некогда тщетно убегал бедный Евгений. Теперь этот цокот был слышен уже в Москве…  В середине июля 1941 года Цветаева проведет двенадцать дней за городом, вблизи Коломны, на даче у своих литературных друзей.  Но с 24 июля она снова в Москве.  Уже начались налеты немецких бомбардировщиков на столицу, ежедневно ревут сирены воздушной тревоги; в домоуправлениях формируют отряды, дежурящие на крышах домов во время налетов, чтобы гасить зажигательные бомбы. Город преобразился; окна домов перекрещены полосками из газетной бумаги, чтобы не вылетали стекла от воздушной волны при взрывах бомб. На многих перекрестках висят рупоры громкоговорителей, по вечерам в небо поднимаются громоздкие туши аэростатов.  Разоблаченная морока - i_031.jpg  *Цветаева, Л. Б. Либединская, А. Е. Крученых, Мур*  *Июнь 1941 г.*  В эти дни Цветаеву часто встречают в скверике перед «домом Ростовых» на улице Воровского (бывшей Поварской), где теперь — после старорежимных дворянских семей, после Чека, после Наркомата по делам национальностей и после Дворца Искусств — разместилось правление Союза советских писателей. Тут некогда молодая Марина слушала странные и вдохновенные речи Андрея Белого, выступавшего перед «ничевоками». Ныне здесь толкутся московские литераторы, жадно узнавая друг от друга новости — фронтовые и городские.  И настойчивым рефреном то в одной группе, то в другой звучит слово «эвакуация».  Первый эшелон московских литераторов и их семей отбыл из Москвы 6 июля. То есть в тот самый день, когда Военная коллегия Верховного суда вынесла смертный приговор Сергею Эфрону.  Теперь составлялись списки тех, кто поедет следующим эшелоном. Ближайший уходил 27-го.  Цветаева спрашивает совета чуть ли не у каждого, с кем она хоть мало-мальски знакома: уезжать или оставаться?  А если уезжать, то куда? И с кем?  Ей был необходим спутник-поводырь даже в те далекие тихие дни, когда она приезжала из чешской деревни в Прагу по делам. Как же было не искать теперь кого-нибудь, с кем можно решиться на то страшное-неведомое, что называлось словом «эвакуация». Слишком хорошо она знала свою непригодность ко всем сферам практической жизни, где надо «устраиваться», хлопотать и добиваться.  Между тем в эти дни испытаний около нее нет человека, кто бы за нее мог решить и сделать, что нужно. «У меня нет друзей, а без них — гибель», — записывала Марина Ивановна в рабочую тетрадь еще в мае сорокового года. За год ситуация не изменилась.  Пастернак, похоже, уже и не вспоминал о ней. В начале июля он проводил в эвакуацию жену с двумя сыновьями, — они уехали с эшелоном писательских детей; потом одиноко жил в Переделкине, но был очень занят: проходил военное обучение, писал статьи, переводил патриотическую лирику народов СССР, ездил в Москву по издательским делам, выбивал гонорары… А, кроме того, — огород и хлопоты о двух пустых квартирах… — дел всегда невпроворот. А все-таки то было предательство дружбы.  Знакомых много. Но «многие» в таких ситуациях — синоним «никого». Ибо нужен один — надежный, любящий, сильный — совсем рядом.  Муру, правда, уже шестнадцать лет, он умен, начитан, самостоятелен, но меньше всего пригоден к тому, чтобы стать опорой матери. И в этом она виновата сама. Она не дает ему выйти из детства: опекает, как несмышленыша, запрещает, разрешает. И совершенно теряется, когда он своевольничает. А теперь еще он влюблен и потому слышать не хочет об отъезде. Вечерами он гуляет со своей знакомой девятиклассницей, а во время налетов иногда дежурит на крыше.  Эти дежурства — чуть ли не главное, что заставляет Цветаеву торопиться с отъездом: она страшно боится за сына.  Да как же и не бояться? Боялась бы, даже если бы и вся семья была рядом.  Но теперь он остался у нее один.  Пастернак почти все время жил в Переделкине. Танечка Кванина, преданная, добрая, милая (Цветаева с ней сблизилась год назад в Голицыне), не появлялась уже больше месяца; ей нельзя даже и позвонить: у нее нет телефона. Николай Вильмонт ушел в ополчение, Тарасенков на фронте с первых дней войны. Авторитет же новых знакомых в тех проблемах, какие теперь надо решать, для Цветаевой неубедителен. Она не слишком доверяет даже Ярополку Семенову — искренне преданному ей молодому поэту: слишком случайно и внезапно он появился на ее горизонте. «Почему он ко мне так хорошо относится? — спрашивает она у Алиной подруги Нины Гордон. — А может быть, он из НКВД?»  Нине Гордон, как и Самуилу Гуревичу, Цветаева несомненно доверяет. Наряду с сестрой мужа Елизаветой Яковлевной это самые близкие ей люди. Но у них у всех свои беды, хлопоты, службы. Да еще и телефоны не работают как раз тогда, когда надо принимать быстрое решение.  Каждая бомбардировка заставляет ее испытывать настоящий ужас. «Я думала, что я храбрая, — говорит однажды Марина Ивановна Шур-Гельфанд, живущей в одной квартире с Лилей Эфрон, — а оказывается, я страшная трусиха, панически боюсь налетов…»  Соседка Цветаевой по квартире на Покровском бульваре — не та, которая враждовала с Мариной Ивановной, другая — Ида Шукст, тогда еще ученица десятого класса, вспоминала, как однажды во время воздушной тревоги она оказалась в бомбоубежище своего дома.  Разоблаченная морока - i_032.jpg  *Нина Павловна Гордон*  Рядом сидела Марина Ивановна — закаменевшая, как изваяние, прямая, с руками, словно приклеенными к коленям, с немигающим взглядом, устремленным перед собой. Ида совершенно не могла на нее смотреть, так было это тяжело, и постаралась больше не ходить в убежище вместе. |

29

|  |
| --- |
| Но постоянное внутреннее напряжение было заметно в Цветаевой и в относительно спокойные дни. Она была как перетянутая струна, вспоминала И. Б. Шукст; опасно было любое неосторожное прикосновение. «Видно было, что она все время сдерживалась, нервное истощение ее было на пределе». И не было никакой разрядки этого напряжения.  Разоблаченная морока - i_033.jpg  *Илья Григорьевич Эренбург*  К ней приходили, но не часто. Во всяком случае, Ида не запомнила ни одной женщины. А значит, не с кем было хотя бы на время расслабиться, сбросить душевную тяжесть: «…все было в себе, все за внутренней решеткой, и оттого нервный срыв был всегда рядом…»  Цветаева с сыном уедут из Москвы 8 августа.  В самый канун отъезда она посетила Эренбурга, вернувшегося из Франции год назад. Достоверных сведений о том, как именно прошла последняя встреча этих людей, некогда связанных сердечной дружбой, у нас нет.  Есть не слишком достоверные.  О свидании рассказывает со слов Мура в своей книге «Париж — ГУЛАГ — Париж» Дмитрий Сеземан. Других источников нет, и остается только надеяться, что хотя бы общая тональность этой встречи не искажена слишком сильно.  Сеземан пишет: «Марина стала Эренбурга горько упрекать: “Вы мне объясняли, что мое место, моя родина, мои читатели здесь, вот теперь мой муж и моя дочь в тюрьме, я с сыном без средств, на улице, и никто не то что печатать, а и разговаривать со мной не желает. Как мне прикажете быть?” Что же ей отвечал Эренбург? Мур мне это рассказывал, — пишет Сеземан, — на перроне ташкентского вокзала, где часами стоял эшелон эвакуированного Московского университета. Рассказывал своим обычным ироническим, даже саркастическим тоном, далеким от какой бы то ни было моральной оценки… Так вот, Эренбург ответил Цветаевой так: “Марина, Марина, есть высшие государственные интересы, которые от нас с вами сокрыты и в сравнении с которыми личная судьба каждого из нас не стоит ничего…” Он бы еще долго продолжал свою проповедь, но Марина прервала его. “Вы негодяй”, — сказала она и ушла, хлопнув дверью».  Всегда трудно верить в точность диалогов, которые воспроизводятся по памяти, да еще спустя несколько десятков лет, да еще через третье-четвертое лицо.  Встреча Эренбурга с Цветаевой уж наверное не исчерпывалась диалогом такого рода. Ибо если иметь в виду дату встречи, то ясно, что Марина Ивановна приходила уже не для упреков, а, скорее всего, с главным своим вопросом тех дней: эвакуироваться ли? И куда, с кем? Очень вероятно, что она попыталась задействовать Илью Григорьевича в прояснении судьбы мужа. Ведь для Цветаевой оставалось неясным, где же он теперь — в Москве или в лагере, как решилась его судьба. Решилась ли? Раз она уезжала из Москвы, было непонятно, как дальше можно будет узнавать о Сергее Яковлевиче.  О судебном заседании, вынесшем 6 июля смертный приговор Эфрону, семье ничего не было сообщено.  Канун отъезда из Москвы описан в воспоминаниях Нины Гордон. Решение уезжать именно 8 августа, с очередным писательским эшелоном, выглядит в этих воспоминаниях внезапным, принятым впопыхах, в состоянии крайнего нервного возбуждения: «И вся она была как пружина — нервная, резкая, быстрая… Очень помню ее глаза в этот день (7 августа, в канун отъезда. — *И. К.*) — блестящие, бегающие, отсутствующие. Она как будто слушала вас и даже отвечала впопад, но тем не менее было ясно, что мысли ее заняты чем-то своим, другим».  Из этого описания очевидно скорее другое: принимая решение покинуть Москву именно 8 августа, Цветаева не советовалась ни с Ниной, ни с мужем Али, несмотря на полное к ним доверие! Оба, придя к Марине Ивановне в этот канунный вечер, пытаются уговорить ее остаться, не спешить, хорошенько приготовиться и собраться, уехать она еще успеет. Цветаева как будто соглашается…  Но наутро все же уезжает.  А на пристань ее приходят проводить Борис Пастернак, Лидия Либединская, Лев Бруни, Виктор Боков. Пришел проститься с Цветаевой и Илья Эренбург. Значит, Марина Ивановна нашла время и возможность известить их? То есть ее отъезд не был таким уж внезапным, решенным прямо в ночь на 8-е. Известно, что ранним утром к дому на Покровском бульваре подъехал грузовик Литфонда, забиравший вещи отъезжавших. А запись на этот грузовик велась заранее…  Все это лишний раз дает почувствовать страшнейшее одиночество Цветаевой в час пиковых испытаний.  2  Итак, 8 августа — отплытие из Москвы, с речного вокзала, на пароходе «Александр Пирогов». В Горьком — пересадка на другой пароход, который пойдет по Каме. Уже в Елабуге Цветаева опустит в почтовый ящик открыточку, адресованную в Союз писателей Татарии. В открытке — просьба помочь перебраться в Казань из Елабуги; Союз писателей Татарии мог бы использовать ее как переводчицу. При этом Марина Ивановна упоминает, что у нее есть рекомендательное письмо директора Гослитиздата П. И. Чагина. Даже два его письма — и в Союз писателей, и в татарское издательство!  Эта деталь тоже не согласуется с версией о панически внезапном отъезде Цветаевой. Значит, и маршрут следования парохода она хорошо знала, и с Чагиным советовалась, и даже заручилась его поддержкой.  «Нервная, резкая, быстрая…», — пишет Гордон. Но на то были совершенно естественные причины: сборы, канун отъезда! Да и грубых слов сына было бы для этого достаточно, ведь Мур сопротивлялся отъезду до последнего момента…  Дорога в Елабугу заняла десять дней.  Долгий срок, если жизненное пространство ограничено территорией парохода. За это время Цветаева перезнакомилась со многими писательскими женами. Некоторые из тех, с кем она успела сблизиться за время пути, сошли в Чистополе — городке, ставшем одним из центров эвакуации писательских семейств. Однако он был уже переполнен, и теперь Московский Литфонд отправлял новые эшелоны дальше, в Елабугу. В Чистополе имели право сойти только те, у кого здесь уже жили родственники.  Обратим внимание всего на один эпизод дальнейшего пути Цветаевой.  На пароходе появилась новая пассажирка — о ней запишет в своем дневнике Мур. Это Флора Лейтес. Она уже несколько недель прожила в Чистополе и теперь едет в местечко Берсут, что по дороге в Елабугу, дабы забрать оттуда писательских детей, отдыхавших в пионерлагере, и привезти их в тот же Чистополь. И вот почти всю, правда недолгую, дорогу до Берсута Флора проведет в беседе с Мариной Ивановной.  Беседа оказалась настолько сердечной и доверительной, что, расставаясь, Флора дала Цветаевой свой чистопольский адрес и обещала помощь, если Марина Ивановна решит добиваться перевода из Елабуги.  В Берсуте Флора сошла.  А у Цветаевой оставался отрезок пути до Елабуги, чтобы обдумать услышанное.  Флора решительно поддерживала мысль не оставаться в Елабуге. Ее информация о Чистополе была уже, что называется, из первых рук. Наверняка она рассказала о том, что в городе действует Общественный совет эвакуированных при Союзе писателей, что он помогает приезжим в устройстве; что там живет не только поэт Николай Асеев, с которым Цветаева была чуть ли не дружна, но и семьи Пастернака, Сельвинского, Федина, Леонова, Тренева. Что в этой писательской среде Марине Ивановне все же будет легче, чем там, где она всем чужая…  Этот дорожный эпизод достаточно объясняет тот странный на первый взгляд факт, что уже на следующий день после прибытия в Елабугу Цветаева отправляет телеграмму Флоре с просьбой начать хлопоты. Решение, похоже, было принято еще на подходе к Елабуге.  Мария Белкина в своей книге предлагает другое объяснение — она считает, что Цветаеву испугал сам вид маленького захолустного городка: «сраженная Елабугой», пишет Белкина, Марина Ивановна поспешила дать телеграмму. (И сам факт знакомства с Флорой Лейтес на пароходе, и дата телеграммы, посланной ей из Елабуги, — результат уникальных разысканий М. Белкиной; моя роль в данном случае — лишь в попытке выявить внутреннюю логику событий.) |

30

|  |
| --- |
| Впрочем, одно не исключает другого, скорее дополняет.  Но ничто не мешает нам предложить и еще одно объяснение этой поспешности.  Мистическое. Настаивать на нем я не буду. Но для меня вполне реально предположить, что в состоянии того крайнего внутреннего напряжения, которое не оставляло Цветаеву уже несколько недель подряд, она могла ощутить, едва ступив на елабужскую землю, толчок в сердце. Необъяснимый толчок страха. Может быть, и больше — ужаса. Ибо она ступила на землю, в которой, спустя всего две недели, тело ее будет погребено.  Итак, 17 августа пароход подошел к пристани «Елабуга». 18-го отправлена телеграмма Флоре Лейтес.  Разоблаченная морока - i_034.jpg  *«Чертово городнище» вблизи Елабуги*  Я впервые увидела Елабугу спустя более чем полвека после той трагической осени. С тех пор город сильно разросся: в его окрестностях были обнаружены нефтяные месторождения. В восточной части Елабуги появился совсем новый район, застроенный стандартными домами. Но старый город сохранил свой облик; старый, но, конечно, не старинный — с поправками на неизбежные вкрапления градостроительных и архитектурных новшеств советских лет. Их, слава богу, не так уж много. На центральной площади до сих пор возвышается скромный монумент Ильичу; продолжают носить советские наименования улицы Ленина и Коммунистическая. Но центральная улица теперь уже обрела старое название — Казанская; только на дальнем ее конце я тогда успела еще застать старые вывески: долгие годы подряд это была улица Карла Маркса.  Разоблаченная морока - i_035.jpg  *Елабуга. Фотография А. Полозова*  Центр города можно не спеша обойти за час-другой. Все дома, которые я здесь искала, оказывались рядом: здание Библиотечного училища, где поначалу разместили москвичей, приехавших вместе с Цветаевой; здание бывшего горсовета, где эвакуированным помогали найти жилье и работу; здание детской библиотеки, куда, как я узнала, Марина Ивановна приходила два или три раза…  На трех-четырех центральных улицах старого города можно увидеть уютные двухэтажные каменные особнячки, любовно и со вкусом выстроенные в прошлом веке елабужскими купцами и заводчиками. Но сделайте два шага от старого центра — и вот уже царство одноэтажных бревенчатых домов, иногда обшитых ярко выкрашенной вагонкой, иногда украшенных резными наличниками на окнах и причудливой резьбой на воротах. Повсюду за заборами — отяжелевшие ветви яблонь: я приехала как раз в августе — только что отошел второй «яблочный спас». Хозяйки торговали яблоками чуть ли не у каждого магазина, расположившись совсем по-домашнему на лавочках и приступочках.  Разоблаченная морока - i_036.jpg  *Кама около Елабуги*  Впрочем, в ту осень, когда сюда приехала Цветаева, урожая яблок, вспоминают старики, совсем не было — чуть ли не все яблони в предыдущую («финскую») зиму повымерзли.  Не было тогда и асфальта на улицах. В осеннюю непогоду туфли вязли в грязи и ходить можно было только в сапогах…  Улочка, на которой стоит дом с мемориальной доской, напоминающей, что именно здесь жила в августе 1941 года Марина Цветаева, тоже обрела старое имя. Теперь она уже не Ворошилова, как тогда, в годы войны, и не Жданова, как это было позднее, — она называется Малой Покровской.  С Покровского бульвара в Москве — на Малую Покровскую в Елабуге!  Но не прошло, видно, бесследно переименование. Не укрыл, не охранил Покров Божьей Матери. И не так уж случайно, наверное, что и на этой улочке, как раз в той ее части, которая примыкает к восстановленному теперь Покровскому храму, я еще увидела тогда крепкие, будто недавно подновленные таблички: «улица Жданова».  Прошлое, как репейник, цепляется за прежние опоры. Между тем, у Елабуги есть своя славная и древняя история, ни в каких названиях теперь уже не отраженная, — ее любовно записал в 1870 году отец знаменитого русского живописца Иван Васильевич Шишкин, дважды избиравшийся елабужским городским головой.  Тут бывал еще до нашей эры персидский царь Дарий I, а в X веке расцвело на три столетия Булгарское государство. В начале XIV века разрушительно прошлись по здешним местам войска Тамерлана. Позже, уже в конце XVIII столетия, побывали здесь и Пугачев со своими дружинами, и Радищев, возвращавшийся из сибирской ссылки в Петербург. А в прошлом веке жила знаменитая кавалерист-девица Надежда Дурова. В ее честь в городе воздвигнут памятник и создан музей, как и в честь Шишкина-живописца. Елабуга, пожалуй, равно гордится обоими Шишкиными — отцом и сыном, как и своими просвещенными талантливыми купцами, имевшими торговые связи аж с далеким заморьем.  Теперь чтут здесь и память Марины Цветаевой. Совсем неподалеку от дома, где она недолго жила в 1941-м, установлен ее бюст, и я видела, как елабужские молодожены приезжали сюда прямо из ЗАГСа как к святому месту, зажигали свечи у памятника. На кладбище или в одном из восстановленных соборов 31 августа служат панихиду, потом читают стихи. Ежегодно в конце августа в городе проходят «цветаевские чтения».  Разоблаченная морока - i_037.jpg  *Дом в Елабуге, где Цветаева провела последние дни жизни*  Однако от простых елабужан доводилось мне слышать и не слишком доброжелательные слова: «опозорила город…», «другие приезжие жили, и ничего, а тут Елабуга виновата — не помогли…». Обычно это голоса стариков, обиженных, что нынче все знают Елабугу прежде всего как место трагической кончины великого поэта.  3  На сегодняшний день существуют три главные версии самоубийства Марины Цветаевой.  Первая выдвинута Анастасией Цветаевой — и растиражирована в многократных переизданиях ее «Воспоминаний». Согласно этой версии, Марина Цветаева ушла из жизни, спасая или, по крайней мере, облегчая жизнь своего сына. Убедившись, что сама уже не может ему помочь, более того — мешает прилипшей к ней репутацией «белогвардейки», она принимает роковое решение, лелея надежду, что Муру *без нее скорее помогут*.  Особенно если она уйдет *так*.  Напомню, что сестра Марины Ивановны в 1941 году все еще отбывает ссылку; узнала она о кончине сестры спустя много времени и собирала сведения о последних ее днях через вторые-третьи руки.  Другая версия наиболее аргументирована Марией Белкиной. С одной стороны, считает она, к уходу из жизни Цветаева была внутренне давно готова, о чем свидетельствуют множество ее стихотворений и дневниковые записи. Но Белкина вносит еще один мотив; он не назван прямо — и все же проведен с достаточным нажимом. Это мотив душевного нездоровья Цветаевой, обострившегося с начала войны. Белкина опирается при этом на личные свои впечатления, личные встречи — и в этом есть как плюсы, так и минусы ее свидетельства. «Она там уже, в Москве, потеряла волю, — читаем мы в книге «Скрещение судеб», — не могла ни на что решиться, поддавалась влиянию любого, она не была уже *самоуправляема…* И внешне она уже изменилась там, в Москве, когда я ее увидела в дни бомбежек; она осунулась, постарела, была, как я уже говорила, крайне растерянной, и глаза блуждали, и папироса в руке подрагивала…»  В этом свете последний шаг Цветаевой предстает как закономерный, неотвратимый шаг больного человека…  Наконец в последние годы появилась третья версия гибели поэта.  В ней роковая роль отводится елабужским органам НКВД.  Автор версии — Кирилл Хенкин, высказавший ее на страницах своей книги «Охотник вверх ногами», изданной первоначально во Франкфурте-на-Майне в 1980 году, а в 1991 году и у нас.  В Москве эта книга, написанная на автобиографическом материале, появилась в восьмидесятых годах. Я узнала о ней, но долгое время не могла прочесть. Как и другая продукция «тамиздата», она ходила в кругах диссидентских и околодиссидентских, и мне, наезжавшей в столицу из Ленинграда всегда на короткое время, заполучить ее в руки долго не удавалось. Однако эпизод из книги, касающийся последних дней Цветаевой, пересказал мне мой московский друг Лев Левицкий. В его пересказе эпизод показался малоправдоподобным. В частности, потому что слишком уж он вписывался в модное поветрие: искать везде и всюду руку НКВД. Тем более что аргументации, насколько я поняла, не было никакой. Сведения покоились на авторитете некоего Маклярского. Его имя мне тогда ни о чем не говорило. Как и имя самого Кирилла Хенкина. |

31

|  |
| --- |
| В спецхранах ленинградских и московских библиотек «Охотника…» не оказалось. И прошло немалое время, пока я смогла сама прочесть книгу.  Сюжет, который мне пересказывал мой друг, занял там всего шесть небольших страничек; я прочла их, и они снова показались мне довольно легковесными.  Сама авторская стилистика разрушала возможность чрезмерного доверия. Ибо Хенкин избрал манеру полубеллетристическую: он постоянно домысливал мотивацию поступков — *за* чекиста, *за* Цветаеву, *за* Пастернака, *за* Асеева. И что ни фраза — мимо! Либо очевидное упрощение, оглупление — как личности, так и обстоятельств, — либо натяжка, либо незнание фактов. Процитирую наиболее значимый отрывок:  «Но я еще тогда (зимой 1941 года, в Москве. — *И. К.*) узнал, что не за деньгами ездила Марина Ивановна в Чистополь, а за сочувствием и помощью. Историю эту я слышал от Маклярского. <…> Сразу по приезде Марины Ивановны в Елабугу вызвал ее к себе местный уполномоченный НКВД и предложил “помогать”.  Провинциальный чекист рассудил, вероятно, так: женщина приехала из Парижа — значит, в Елабуге ей плохо. Раз плохо, к ней будут льнуть недовольные. Начнутся разговоры, которые позволят всегда “выявить врагов”, то есть состряпать дело. А может быть, пришло в Елабугу “дело” семьи Эфрон с указанием на увязанность ее с “органами”. Не знаю. <…>  Ей предложили доносительство.  Она ждала, что (в Чистополе — *И. К.*) Асеев и Фадеев вместе с ней возмутятся, оградят от гнусных предложений. <…> Боясь за себя, боясь, что, сославшись на них, Марина их погубит, Асеев с Фадеевым сказали (или кто-то один из них сказал, — может быть, и Асеев — боясь Фадеева) самое невинное, что могли в таких обстоятельствах сказать люди их положения. А именно: что каждый сам должен решать — сотрудничать ему или не сотрудничать с “органами”, что это <…> дело политической зрелости и патриотизма».  Что и говорить, такой вариант никому до тех пор не приходил в голову.  Однако, как выяснилось, Фадеева тогда в Чистополе не было; соображение, кто кого боялся и «что могли сказать», звучало по крайней мере неубедительно. Что именно подумал Асеев и что именно он сказал Цветаевой, и был ли вообще такой разговор — этого никакой Маклярский не мог бы весомо утверждать… А когда достоверное столь растворено в домысле, делать с ним нечего. Таким свидетельством, в сущности, можно было бы и вообще пренебречь. Но слишком важного момента оно касается.  Так или иначе, перед нами — третья версия, перед которой прежние тускнеют и отступают на задний план.  Версия поначалу представлялась мне шаткой.  Как можно было, думала я, зимой 1941 года в Москве узнать о том, что произошло в далекой Елабуге в сильно засекреченном ведомстве за семью замками? И кто это в то время так уж интересовался в столице судьбой Марины Цветаевой?  Репутацию великого поэта она обрела только сорок лет спустя!  Однако со временем конкретнее обрисовался облик обоих участников того зимнего разговора. И сомнения мои стали терять прочность. Появившиеся мемуары и документы подтвердили близость Хенкина к семье Цветаевой еще во Франции. Кирилл и Ариадна (почти сверстники), оказывается, дружили и даже переписывались, когда Аля уже уехала в Москву. И в дневнике Мура зафиксировано известие о приезде Хенкиных в СССР (запись 28 февраля 1941 года). Мало того. В одном из писем Ариадны Эфрон обнаружилась характеристика Е. А. Нелидовой-Хенкиной (матери автора книги) как человека, хорошо знакомого с подробностями тайной работы Сергея Эфрона в советской разведке. А из того же «Охотника…» теперь известно, что и сам автор книги как раз «с подачи» Эфрона в конце концов влился в ряды сотрудников НКВД.  Вскоре после приезда из Франции, зимой того же сорок первого года, Кирилл Хенкин служил в Четвертом управлении НКВД — и Михаил Борисович Маклярский был его непосредственным начальником! Между тем, круг специфических интересов полковника госбезопасности Маклярского включал именно деятелей советской литературы и искусства — в предвоенные и военные годы. (Позже, когда война закончилась, на первый план выступила другая сторона талантов полковника. В миру он стал сценаристом. Фильмы по сценариям с его участием широко известны: «Подвиг разведчика» (1947), «Секретная миссия» (1950), «Заговор послов» (1966) и другие — той же направленности. В 1960 году он возглавил Высшие сценарные курсы. И теперь еще многие москвичи из кругов кинолитературных хорошо помнят Михаила Борисовича. И утверждают, что прямые его связи с НКВД — КГБ были широко известны).  Но если таков был род занятий Маклярского, то разговор о Цветаевой обретает вполне доброкачественную основательность. Маклярский *не мог не знать о* недавно вернувшейся из эмиграции поэтессе, у которой к тому же были арестованы к началу войны и сестра, и муж, и дочь. Совершенно ясно, что он должен был следить за ее судьбой — она была одной из его подопечных! И известие о ее трагической кончине *не могло не дойти* до него по вполне естественным каналам. Все это уже не оставляет возможностей биографу поэта игнорировать версию Хенкина.  Однако до сих пор она никем из исследователей всерьез не рассмотрена. Не потому ли, что проверить, подтвердить ее каким-то документом затруднительно?  Поиски *досье* на Цветаеву упираются в глухую стену. Елабужское НКВД отвечает, что архивы военного времени надо искать в Казани. Официальная Казань отрицает: у них ничего нет. Москва ссылается на Казань, — ответы, впрочем, туманные. Отчаявшись найти концы, я пытаюсь узнать у сотрудников архива КГБ: если бы все же досье нашлось, можно ли быть уверенным, что в нем сохранились следы вербовки, то бишь «приглашения к сотрудничеству»? Оказывается, совсем необязательно. Особенно если согласие вербуемого не было получено. Зачем оставлять следы своей плохой работы?  По существу же своему версия более чем правдоподобна. В органах НКВД существовал свой «производственный план» по вербовке сексотов среди населения; это называлось «профилактической работой». И чтобы «беседовать» с Цветаевой в означенном духе, елабужским чекистам не нужно было даже ждать прибытия ведомственной почты с личными досье. Всё необходимое пересылалось отделом кадров Союза писателей и в Чистополь, и в Елабугу прямо с кем-то из приехавших.  Представим.  В Елабужском НКВД царит тоска и провинциальная плесень. И вдруг — удача: прибывает бывшая белоэмигрантка (именно этот термин бытовал в те годы), у которой «сидит» вся семья. И муж воевал в Белой армии. И имеется сын — единственный из семьи, оставшийся рядом. Такая уязвимость — просто находка. Широчайший простор для увещеваний и шантажа.  Мне приходилось, правда, слышать возражения: да зачем она была им нужна? Что могла сообщить полезного? Но Учреждение, о котором идет речь, никогда не вписывалось в рамки разумности. А значит, ответов может быть множество. И «производственный план». И любопытство. И желание припугнуть, лишний раз получая удовольствие от сознания вседозволенности. И просто: почему бы нет? Биография уж очень подходящая.  Английская исследовательница Катриона Келли, ознакомившаяся с изложенной выше версией в английском издании моей книги «Гибель Марины Цветаевой», усомнилась: да зачем Цветаева нужна была советским спецслужбам, чем она была опасна для государства? Вот так до сих пор представляют себе ситуацию в советской России конца 30-х — начала 40-х годов наивные люди за рубежом. Они все еще думают, что НКВД в самом деле интересовалось именно врагами советской власти, только их и преследовало. Что ж, блажен, кто верует, тепло ему на свете!..  Врагов режима советская власть сажала в тюрьмы и расстреливала и до 1937 года. Но в тридцать седьмом процесс был поставлен на поток аналогично сбору яровых и выплавке стали. На места спускалась разнарядка: сколько врагов народа следует убить, сколько посадить и сослать. Так, за четыре месяца 1937-го планировалось репрессировать более четверти миллиона «врагов народа», не считая членов их семей. В документе, подписанном 30 июля 1937 года Н. И. Ежовым («Оперативный Приказ Народного Комиссара ВД № 00447»), было отдано распоряжение незамедлительно начать операцию по репрессированию во всех республиках, краях и областях. Самое страшное в этом приказе — заранее определенное количество людей, подлежащих немедленному расстрелу или заключению в тюрьмы и лагеря, расписанное по республикам, краям и областям. Так, в Мордовской АССР репрессировать следовало 1800 человек, в Киевской области — 5500 человек, в Татарской АССР — 2000 человек, в Карагандинской области — 1000 человек и т. д., список необъятен. |

32

|  |
| --- |
| Отсутствие достоверных документальных доказательств прискорбно. Но биографу просто необходимо иметь в виду *реальную возможность* этой версии. И соотносить с ней уже известные факты — как и новые свидетельства.  Это я и попробую сделать.  4  В хронике последних дней жизни Марины Цветаевой (от высадки на пристани «Елабуга» до трагического дня 31 августа) далеко не все прояснено. Даже в превосходной книге Белкиной, опирающейся на множество собранных свидетельств, остаются еще противоречия и недосказанности. Некоторые Белкина отмечает сама; правда, слишком вскользь. И вот лишь один пример.  На что жить, когда кончатся вывезенные из Москвы съестные припасы и будут проедены взятые с собой вещи? Где и как зарабатывать? Это, кажется, одна из главнейших точек беспокойства Цветаевой, мучившего ее уже на пароходе, до прибытия в Елабугу.  Однако по приезде, если верить письму-воспоминанию Т. С. Сикорской (приведенному Белкиной), Марина Цветаева идти в горсовет искать работу отказывалась: «Не умею работать. Если поступлю — сейчас же все перепутаю. Ничего не понимаю в канцелярии, все перепутаю со страху». «Ее особенно пугала, — продолжает Сикорская, — мысль об анкетах, которые придется заполнять на службе…»  Но этому утверждению противоречат сведения, которыми мы располагаем сегодня.  Цветаева *искала* работу в Елабуге, и весьма энергично! Энергично искал работу и ее сын.  По свидетельству хозяйки дома А. И. Бродельщиковой, Марины Ивановны почти никогда не было дома. Вместе с тем известно, что она не один раз заходила в районный отдел народного образования. Предлагала свои услуги в Педагогическом училище. Два или три раза была в Елабужской детской библиотеке на Тойминской улице. Но книг там не брала, сына с собой не приводила и всякий раз уединялась с заведующей библиотекой в ее кабинете — не для того ли, чтобы узнать о возможности устроиться на работу?  Конечно, ей приходилось постоянно подавлять страх, едва дело доходило до предъявления паспорта и заполнения анкет. Кое-где, видимо, до этого дело дошло. Иначе почему же в городке знали о том, что она приехала из-за границы? И что муж ее был в Белой армии? Уж конечно, сама она об этом без необходимости не распространялась…  В одном месте ей сразу отказывали, в другом она отказывалась сама, узнав условия, характер работы и понимая, что не справится. Свою непригодность к «чистой» канцелярской работе она знала еще со времен Гражданской войны, когда в 1919 году ей пришлось несколько месяцев прослужить в Комитете по делам национальностей; она рассказала об этом в мемуарном очерке «Мои службы». И еще она знала, что совершенно неспособна быть, скажем, воспитательницей в детском саду. Это тоже не требует пояснений — достаточно вспомнить стрессовое состояние Марины Ивановны в эти недели. Но вот противоречие в чистом виде.  Сикорская пишет: «Все уговоры пойти в горсовет не помогли…» Между тем в дневнике Мура есть запись о том, что *Цветаева в горсовете была.* Может быть, это означает только то, что Цветаева не пошла туда вместе с Сикорской, пошла одна, без нее?  Это возможно. Но почему? В прежние времена она всегда кого-нибудь просила, чтобы ее сопровождали, тем более в незнакомом городе.  И это еще не все.  Запись Мура в книге Белкиной не приведена полностью. А ведь запись странная и важная. Одна деталь там крайне настораживает. В записи сказано, что в этот день (а это, запомним, 20-е августа!) Марина Ивановна *была в горсовете и работы там для нее нет, кроме места переводчицы с немецкого в НКВД.*  Нота бене!  В первый и в последний раз аббревиатура НКВД появилась в елабужском дневнике Мура! Мельком, без пояснений.  Место переводчицы — да ведь это предел мечтаний Цветаевой. Решение всех проблем! Чего тогда еще искать! Зачем?  Но вот в чем странность: в горсовете *не могли* предлагать работу в НКВД! Это исключено абсолютно. Подбор кадров для себя это серьезное Учреждение никому и никогда не доверяло. В сегодняшней Елабуге мне удалось найти женщину, которая как раз в годы войны такую работу получила: она была переводчицей с немецкого в елабужском лагере для военнопленных. Лагерь возник в начале 1942 года, и осенью сорок первого к его открытию уже наверняка готовились, подбирали штат. Но Тамару Михайловну Гребенщикову, с которой я беседовала, направили на эту работу специальным распоряжением НКВД Татарии! Она это помнит отчетливо. И подтверждает: горсовет не имел никакого отношения к подбору сотрудников такого рода… Но Мур делает запись в тот же день! Это не воспоминание, отделенное от упоминаемых событий большим или меньшим временем, когда что-то может сместиться в памяти.  Не была ли Цветаева утром этого дня в другом месте? Вовсе не в горсовете, а в елабужском НКВД? Не потому ли и пошла она туда без сопровождающих? Но зачем? По вызову? Так быстро сработавшему? Ведь группа из Московского Литфонда прибыла в Елабугу всего два дня назад! Они еще даже не расселены по квартирам и живут пока все вместе в помещении Библиотечного училища. Такая оперативность кажется маловероятной: не по-советски. Хотя и не исключено.  А не могла ли Цветаева пойти в Учреждение по собственной инициативе, без всякого вызова? Ведь она уже несколько недель ничего не знала о судьбе мужа. В мае из НКВД затребовали для него вещи; и естественно было предположить, что Сергея Яковлевича готовят, наконец, к отправке по этапу. Но где он теперь? Если отправлен — необходимо узнать его адрес для писем и посылок и сообщить свой собственный адрес — новый, елабужский.  С другой стороны, идти добровольно в то самое Учреждение, когда ее полтора года не отпускал страх собственного ареста… Да, но ведь ходила она в Москве в тюрьмы — с передачами и за справками, да по несколько раз в месяц!  Но есть и еще одно вполне вероятное объяснение этой записи Мура.  В те не столь уж давние годы существовала широко распространенная практика: сотрудники Учреждения под невинным предлогом вызывали нужного человека в отделение милиции, например, в райсовет или горсовет, а то и просто в жилищную контору. По поводу прописки, скажем. Или предоставления жилья. Но ждал там пришедшего отнюдь не сотрудник горсовета, ЖЭКа или милиционер. Ждал профессионал-энкаведешник. И, уединившись в особой комнате, заводил свои пугающие разговоры.  И, может быть, Цветаева действительно была в елабужском горсовете, но беседовал там с ней самый настоящий «хам-чекист».  Сказала ли Цветаева сыну всю правду об этом разговоре? Вряд ли. И особенно, если там предложили «сотрудничество», то есть доносительство, — в обмен, скажем, за помощь в устройстве на работу. «Обмен» такого рода был в те времена самой обычной вещью. И сопровождался он, как правило, угрозами и запугиванием.  Эта запись в дневнике Мура крайне важна; она неожиданно и сильно подкрепляет версию Хенкина.  Подкрепляет ее и еще одно обстоятельство. В Чистополе ныне существует музей Б. Л. Пастернака. Его сотрудники были настойчивы в розыске материалов, связанных с пребыванием в городе во время войны эвакуированных писателей. Музейщики успели вовремя (в начале девяностых годов некоторые кэгэбисты еще помогали таким розыскам). Наградой усилиям была возможность самолично прочесть доносы, которые строчили иные из этих писателей на Бориса Леонидовича. И вряд ли доносы были добровольными, скорее всего сочинялись под нажимом «органов». То есть и в Чистополе шла активная вербовка в сексоты. Ситуация в Елабуге была ничуть не более либеральной.  5  Моя первая поездка в Елабугу осенью 1993 года превратила осторожные предположения почти в полную уверенность.  Начну с того, что в разговоре со мной тогдашний начальник елабужского КГБ Баталов и старший оперуполномоченный капитан Тунгусков, когда я напрямую задала им свои вопросы, высказались однозначно: «беседа» такого рода с Цветаевой в том далеком августе представляется им более чем реальной. |

33

|  |
| --- |
| Нет, документальных подтверждений в их распоряжении нет.  Но практика того времени такому предположению совершенно не противоречит.  А разве, спросила я, анкетные данные Цветаевой не исключают ее из числа возможных «сотрудников», пусть даже и секретных? Ведь естественнее, кажется, за ней самой наблюдать, а не поручать ей, чтобы она следила за другими?  Насколько я поняла из ответа, то и другое вполне совместимо.  Еще более весомыми оказались воспоминания старых елабужан. Правда, и они чаще всего говорили об общей практике тех лет, о царившей в городе атмосфере, а не о случае с Цветаевой. Но когда Анна Николаевна Заморева, бывшая учительница математики, работавшая в одной из известных школ города, рассказывала мне о том, как елабужский НКВД пытался вербовать ее в сексоты, я слушала ее историю отнюдь не как сторонний материал.  Замореву настоятельно призывали последить за другим учителем, приехавшим в начале войны из Бологого, — Германом Францевичем Диком. Рекомендовали записывать, с кем он общается, что именно говорит… Рассказала мне Анна Николаевна и о том, как умели «органы» мстить за отказ сотрудничать.  Нет сомнения, что то был не единичный случай в Елабуге. Провинциальный городок был нашпигован стукачами не хуже городов столичных. Шквал арестов сильнее всего прошелся здесь в те же годы: в тридцать седьмом — тридцать восьмом. Лучшие люди Елабуги один за другим исчезали тогда в лагерях ГУЛАГа. Немногие вернувшиеся шепотом рассказывали — и только самым близким — о том, что они увидели и пережили.  Но нашлись и те, кому довелось-таки видеть и запомнить саму Марину Ивановну и ее сына.  Таких, правда, оказалось уже немного, и рассказы их были отрывочны и лаконичны.  Больше всего меня поразил один повтор, тем более достоверный, что слышала я его от людей, не знавших друг друга.  Тамара Петровна Головастикова, тогда совсем молоденькая, увидела Цветаеву посреди базара. Что это именно она, поняла только много лет спустя, когда ей в руки попалась книга с портретом Марины Ивановны: «Чувство было совершенно отчетливое: это ее я тогда видела!»  А запомнила она эту необычную женщину потому, что нельзя было не обратить на нее внимания: стоя посреди уличного базара в каком-то жакетике, из-под которого виден был фартук, она сердито разговаривала с красивым подростком-сыном по-французски. Тамара Петровна знает немного немецкий, но говорит, что французский она легко отличает от других языков. Женщина курила, и жест, каким она сбрасывала пепел, тоже запомнился — он показался Тамаре Петровне странно красивым. А у нее был глаз на такие подробности: она готовилась тогда в артистки. Сын отвечал женщине тоже сердито, на том же языке; потом побежал куда-то, видимо, по просьбе матери. Пара была ни на кого не похожа. Потому надолго и запомнилась.  А еще необычным было лицо этой женщины: будто вырезанное из кости — и предельно измученное. Такое, будто у нее только что случилось большое горе.  Вот где этот повтор: лицо измученное!  Будто сговорились.  Вспоминали разные подробности: одежду ее, суровость, с какой проходила она мимо молоденькой библиотекарши в кабинет заведующей, и всякий раз неукоснительно: «Лицо у нее такое было… будто сожженное… измученное».  Еще более неожиданны в облике Цветаевой — волосы, совсем убранные со лба и спрятанные под берет, а то и под платок, повязанный как у монашенки. И еще — очки! Сначала эти подробности заставляли меня думать: это не о ней. Перепутали с кем-то. Но и в другом рассказе они повторились, и в третьем, тогда уж точно — о ней. Очки упоминались и в записях тех, кто беседовал с Бродельщиковыми. Платок — в рассказе юной тогда библиотекарши, которая знала имя посетительницы…  Другой елабужский старожил засвидетельствовал свое знакомство — уже не с Мариной Цветаевой, а с инструкцией, ее непосредственно касавшейся.  То был еще один мой собеседник — Николай Владимирович Леонтьев; он хорошо помнил содержание инструкции, в которой давалась характеристика Цветаевой, а также жесткие указания, какие меры следует предпринимать, дабы оберечь граждан города от вредоносного влияния самой памяти о пребывании Цветаевой в городе Елабуге. Знал эту инструкцию Леонтьев по долгу службы, ибо в Елабужском горкоме партии был вторым секретарем, то есть возглавлял идеологический отдел — пропаганды и агитации; кажется, так это тогда называлось… Не во время войны, а вскоре после ее окончания. Война уже окончилась, но инструкция сохраняла дух, нисколько не изменившийся с того времени, как 17 августа 1941 года в Елабугу прибыла великая русская поэтесса.  — Кем был составлен этот циркуляр, — задаю я наивный вопрос Николаю Владимировичу, — елабужскими властями или казанскими?  Реакция в ответ почти сожалеющая: настолько ничего не понимать!  Но когда мой собеседник начинает излагать суть инструкции, наивность моя испаряется: такого елабужским властям было просто не придумать.  Характеристику, без сомнения, составляли в самых высших компетентных органах, то бишь в московском НКВД. Она представляла Цветаеву как «матерого врага советской власти» (именно эти слова!). Как человека не только настроенного против советского строя, но и активно боровшегося с этим строем еще там, «за кордоном». Печаталась в белогвардейских журналах и газетах. Входила в белогвардейские организации… И так далее в том же духе.  Короче, человек не только чуждый социалистическому обществу, но и очень опасный.  Леонтьев не хотел ничего прибавлять из того, о чем он узнал уже позже. Так, он решительно утверждал, что в том циркуляре ничего не было сказано о муже Цветаевой. Видимо, для «захолустной» Елабуги излишние сведения были не нужны: ведь сам Эфрон здесь появиться не мог…  Через руки моего собеседника прошло множество циркуляров тех лет: он помнит списки книг, подлежавших уничтожению во всех библиотеках города, включая самые маленькие; помнит инструкции о портретах членов Политбюро — какие следовало, а какие не следовало нести на первомайской демонстрации. Его свидетельства дорогого стоят…  К моим встречам и беседам добавила достоверные факты публикация, появившаяся в начале 1990-х годов в журнале «Родина».  Ее автору, казанскому историку А. В. Литвину, удалось-таки познакомиться в архиве НКВД с досье другого гостя Елабуги — С. Я. Лемешева. Прославленный певец появился в городе спустя несколько месяцев после гибели Цветаевой. Он провел здесь почти два месяца — с конца мая по июль 1942 года. Документы, обнародованные Литвиным, доказательно опровергали представление о российской глубинке как о месте, где легко было схорониться от настойчивых преследований Учреждения. Выяснилось, что прямо вслед за Лемешевым и его женой из Москвы в Казань, а из Казани в Елабугу на имя старшего лейтенанта Козунова, начальника елабужского отделения НКВД, последовал циркуляр. Он предписывал установить неусыпный контроль за каждым шагом знаменитого тенора и его жены, ибо они «разрабатывались» (так принято выражаться на языке НКВД) как предполагаемые шпионы.  Описание содержимого досье производит сильное впечатление. Оно заполнено сведениями о вербовке соседей Лемешева, знакомых его знакомых, а также усердными донесениями тех и других. Лемешеву заботливо поставляют партнеров для преферанса, егерей и напарников для любимой охоты, — а он и не подозревает, что все они старательно запоминают каждое его слово, чтобы сообщить затем куда надо.  Какой же проступок повлек за собой столь энергичные действия «органов»? Оказывается, всего-навсего — немецкая фамилия жены певца!  Сведения, связанные с именем Цветаевой, должны были насторожить куда сильнее…  Но вернемся к хронологий дальнейших дней в Елабуге.  На следующий же день после визита в «горсовет» Марина Ивановна и Мур поселяются в доме Бродельщиковых на улице Ворошилова. Это одноэтажный бревенчатый дом, каких множество в Елабуге.  За помощь «свыше» принять это никак нельзя, настолько жалка крошечная комнатка, в которой поселяются мать и сын. В комнатке всего метров шесть; перегородка, отделяющая ее от хозяйской горницы, не доходит до потолка, вместо двери — занавеска. Согласиться на это убожество можно было разве что от невыносимой усталости — или при уверенности, что жить здесь придется совсем недолго. |

34

|  |
| --- |
| Еще день спустя, то есть 22 августа, в том же дневнике Мура запись: решено, что Цветаева поедет в Чистополь.  Одна, без сына.  Цель поездки обозначена коротко: так как ответа от Флоры Лейтес все еще нет, то необходимо разузнать, можно ли туда, в Чистополь, переехать.  Мотивы понятные. Единственная странность — спешка. Прошло всего три дня после отправления телеграммы! Идет всего лишь пятый день пребывания в Елабуге! Почему не подождать ответа еще немного?  Но 24-го Цветаева уже отплывает на пароходе в Чистополь.  Разоблаченная морока - i_039.jpg  *Анастасия Ивановна Бродельщикова*  Задержимся, однако, в Елабуге еще на некоторое время.  Спустя полвека после гибели Цветаевой на вечере, посвященном ее памяти, в 1991 году, неожиданно обнаружился новый очевидец тех давних лет — Алексей Иванович Сизов. В начале войны молодым пареньком он преподавал физкультуру и военное дело в Елабужском педагогическом училище. И однажды, в конце лета 1941 года — занятия еще не начались, — встретил во дворе училища женщину с усталым, измученным лицом. Она спросила его, местный ли он, и, услышав утвердительный ответ, попросила помочь найти комнату — для нее и ее сына. Сизов понял, что перед ним эвакуированная, и посоветовал обратиться в горсовет — там занимались расселением приехавших. Но женщина ответила: «У нас уже есть комната, но я бы хотела переехать. С хозяйкой мы не поладили…»  Узнав, где именно поселилась приезжая и кто ее хозяйка, Сизов подумал про себя, что с Анастасией Ивановной Бродельщиковой и в самом деле поладить непросто — характер у нее жесткий. Алексей Иванович это знал, потому что не раз рыбачил с ее мужем и в дом к ним был вхож.  Из дальнейшего разговора выяснилось, что женщина — писательница.  Разоблаченная морока - i_040.jpg  *Алексей Иванович Сизов*  И тут Сизов вспомнил, что уже слышал о ней. Она приходила в училище устраиваться на работу. Только биография у нее была неподходящая: из белоэмигрантов. «Чуждый элемент» — так тогда говорили. И ее не взяли, хотя места были.  Алексей Иванович стал расспрашивать женщину, не она ли была за границей и с кем она там встречалась из писателей, наших и французских. Они поговорили немного. Сизов — даром что военрук — с молодых лет был пожирателем книг, запойным книгочеем. Я побывала у него дома и видела его большую библиотеку. Перед литературой и литераторами он благоговел… В конце разговора с эвакуированной Сизов обещал поискать жилье.  — Откуда вы узнали, — спросила я у Алексея Ивановича, встретившись с ним в августе 1993 года, — что она из-за границы приехала? Не сама же она об этом говорила?  — Конечно, нет. Но я слышал, как о ней судачили в нашей канцелярии после ее прихода.  Бродельщикова при встрече подтвердила Сизову, что и она хотела бы других постояльцев, не этих. «Пайка у них нет, — объяснила она Алексею Ивановичу, — да еще приходят, когда ее нет, эти, с Набережной (то есть из НКВД. В Елабуге Управление НКВД — КГБ — ФСБ и сейчас расположено на улице, которая так называется: «Набережная», хотя до реки отсюда еще далеко. — *И. К.*). Бумаги ее смотрят и меня спрашивают, кто ходит к ней да о чем говорят… Одно беспокойство… Я и сказала, чтобы они другую комнату искали».  Эта подробность в воспоминаниях Сизова мне показалась сначала сомнительной: не придумана ли такая прыткость чинов «с Набережной» — по модным выкройкам времени?  Однако после встреч со старожилами Елабуги и их воспоминаний я уже не отметала рассказ Алексея Ивановича с порога. Чего проще, в самом деле, самих хозяев дома сделать осведомителями, даже и не прибегая к такому неудобному термину!  Через день-другой Сизов нашел для Марины Ивановны комнату на улице Ленина, около татарского кладбища, — там жило одно знакомое ему семейство.  И он даже отвел туда Цветаеву, оставил для переговоров, а сам ушел. Дела были, рассказывал Сизов, стоял август, он на молотилке в эти дни работал на окраине Елабуги.  Еще прошло дня два-три.  (Эти сроки: «день-другой», «дня два-три», конечно, хуже всего помнятся спустя полвека; между тем дней-то у Цветаевой в Елабуге было считанное число! Да еще посредине поездка в Чистополь. Когда же начался этот сюжет с Сизовым? Если он был, — а по-видимому, все же был, — то возникнуть должен был еще до поездки. И продолжиться по возвращении Цветаевой из Чистополя.)  Спустя некоторое время вахтер училища передал Алексею Ивановичу записку. Там было написано крупным почерком: «Алексей Иванович, хозяйка, у которой мы были, мне отказала». Сизов отправился на улицу Ленина — и застал там въехавших других постояльцев. Объяснение хозяев было простое: «У твоей ни пайка, ни дров. Да она еще и белогвардейка. А эти мне печь переложить взялись…»  «Белогвардейка», «чуждый элемент», «из-за границы приехала» — это была, кстати говоря, та мета, по которой сразу вспоминали Цветаеву, не путая с другими, и елабужцы и эвакуированные (жившие здесь еще до прибытия писательской группы). Она одна была здесь такая — «меченая».  Молодого любопытного и простоватого Сизова это притягивало, людей постарше сильно отпугивало. Она была «другая», непохожая, «не наша». Причина для провинции вполне достаточная, чтобы вызвать недружелюбное чувство.  — Да что за дело хозяйкам-то, — спрашиваю я Сизова, — как будут перебиваться жильцы — с пайком или без, не все ли им равно?  Оказалось, совсем не все равно. По заведенному порядку принято было, чтобы постояльцы приглашали хозяев к ежевечернему чаю, угощали. То есть, говорит мне Сизов, приезжие должны были, по сути дела, делиться пайком.  А кроме того, у кого был паек, тому горсовет и дрова давал. А ведь зима уже была не за горами…  Но почему же тогда Цветаева оказалась без пайка? Просто не успели еще оформить — или обошли? Узнать твердо мне это не удалось. Однако есть догадка: в сохранившейся страничке из домовой книги прописанным оказался только Мур! Может быть, Цветаева медлила с пропиской в надежде уехать? А паек, возможно, был напрямую связан с пропиской.  Я еще вернусь к рассказу Сизова, пока отмечу лишь, что, во всяком случае, он вносит поправки в воспоминания тех, кто еще застал в Елабуге Бродельщиковых и поговорил с ними о Марине Цветаевой.  В этих воспоминаниях хозяева дома, где Марина Цветаева прожила последние дни своей жизни, выглядят очень благообразно. Симпатичные, милые, добрые, «с врожденно благородной нелюбовью к сплетне, копанию в чужих делах»…  Правда, в иных зафиксированных в воспоминаниях интонациях хозяйки можно все-таки расслышать затаенную обиду: уж очень была приезжая молчалива, о себе ничего не рассказывала.  А это для российского простого человека — «гордыня».  «Только курит и молчит» — даже сидя рядом с хозяйкой на крылечке дома.  Одну фразу, впрочем, как раз на крылечке-то и произнесенную, Бродельщикова запомнила — для нас очень важную. Мимо дома по вечерам маршировали красноармейцы, проходившие в городе военную подготовку. И с губ Цветаевой однажды срывается:  «Такие победные песни поют, а *он* все идет и идет…»  6  В день отъезда Марины Цветаевой в Чистополь Мур записывает о матери в свою тетрадь: «Настроение у нее отвратительное, самое пессимистическое».  В версии Кирилла Хенкина эта поездка выступает важным звеном. Хенкин убежден, что Цветаева поехала в Чистополь прежде всего «за сочувствием и помощью», напуганная елабужскими чекистами. Отметим, кстати, что если и в самом деле «горсовет» — это как бы эвфемизм НКВД, то дата «собеседования» — 20 августа — вполне согласуется с тем, что Хенкину говорил Маклярский: «Сразу по приезде Марины Ивановны в Елабугу вызвал ее к себе местный уполномоченный НКВД…» |

35

|  |
| --- |
| Тогда выстраивается следующая цепочка событий: 17 августа — приезд в Елабугу, 20-го — «беседа» с оперативником в «горсовете», 22-го — запись Мура о решении матери ехать в Чистополь, 24-го — отъезд. Психологически в этом варианте стремительный отъезд из Елабуги более чем закономерен. В этой ситуации оказаться одному, особенно для человека нервно измученного так, как уже была измучена Цветаева, — катастрофа. Необходим кто-нибудь свой, близкий, не из новых знакомых, как бы симпатичны они ни были, а из давних, прежних, надежных, знающих все особенности твоей ситуации без объяснений. И для Цветаевой естественно было подумать прежде всего о Николае Николаевиче Асееве.  Он — в Чистополе, и он — не рядовой и бесправный, не мелкая сошка, а знаменитый поэт, один из самых весомых членов правления писательского союза. У него есть и авторитет, и связи, с ним не могут не считаться.  Разоблаченная морока - i_041.jpg  *Георгий Эфрон. Сентябрь 1941 г.*  Я не думаю, что Цветаева действительно надеялась (как иронически пишет Хенкин) на активную «защиту». Вряд ли настолько она была наивна. Ей нужны были поддержка, совет. Что делать? Как себя дальше вести? Ибо если предположить встречу с «уполномоченным», то известно, в каком тоне они разговаривали; обещания помощи быстро сменялись угрозами — в случае отказа или даже колебаний. Согласитесь сотрудничать с нами — и с жильем поможем, и вот вам работа переводчика, о которой вы мечтаете. Нет? Ну тогда вас никуда не возьмут. «И значит, вы не хотите подумать о судьбе сына?»  Практика известная, стандартная, и если уж допускать возможность такого сюжета, надо просмотреть его до конца.  Самое простое (хотя и действительно наивное), что в этом случае могло прийти в голову, — это быстро уехать из Елабуги. Оказаться поблизости от Асеева, от писательских организаций — в том кругу, где она не чувствовала бы себя иголкой, затерянной в стоге сена.  Всю свою жизнь сторонившаяся объединений и группировок, всегда стоявшая *вне*, она теперь вынуждена искать спасения в принадлежности хоть к какому-то братству…  Между тем в ее отношениях с Асеевым не было особенной теплоты. Но как раз весной сорок первого года возникло какое-то подобие дружбы, и Марина Ивановна бывала у Асеевых в гостях вместе с сыном.  Дружба не стала слишком близкой — хотя бы потому, что Цветаеву активно невзлюбила жена Асеева. Мне пришлось с ней однажды разговаривать, и она предупредила сразу, что ничего хорошего о Марине Ивановне сказать не сможет.  Да, Цветаева бывала у них в Москве, и не однажды. «И проходила мимо меня, как мимо мебели, едва кивнув. Она хотела говорить только с Асеевым, остальные ее не интересовали…» Никакой скидки на трагичность жизненных обстоятельств Цветаевой в то время и на ее душевное состояние, вызванное этими обстоятельствами, Ксения Асеева делать не умела и не хотела. Даже наоборот: эти обстоятельства должны были еще больше усилить ее неприязнь.  Ибо она принадлежала к тому кругу «сливок» советского общества, где удерживались только те, кто умел отворачиваться от несчастий остального мира.  Сын Цветаевой скрытых подтекстов, по-видимому, не улавливал.  3 июня 1941 года он так писал своей сестре: «В последние два-три месяца мы сдружились с Асеевым, который получил Сталинскую премию за поэму “Маяковский начинается”. Он — простой и симпатичный человек. Мы довольно часто у него бываем — он очень ценит и уважает маму».  Цветаева пробыла в Чистополе два дня — 25 и 26 августа. Но 27-го утром она уже снова на чистопольской пристани и ближайшим рейсом вернулась в Елабугу.  Наверняка к Асееву она отправилась сразу же, едва узнав его адрес.  Но вот об этой-то чуть ли не самой главной чистопольской встрече мы почти ничего и не знаем!  Знаем ряд обстоятельств вокруг — но не больше.  Известно другое: дня за два-три до приезда Марины Ивановны вопрос о возможности ее переезда из Елабуги в Чистополь уже обсуждался на заседании Совета эвакуированных. Наверняка это произошло по инициативе той самой Флоры Лейтес, телеграммы от которой Цветаева так ждала. Флора побывала у Николая Николаевича Асеева и, стараясь уговорить его, обещала, что поселит Цветаеву с сыном у себя. Так что ей не придется даже искать жилье.  Разоблаченная морока - i_042.jpg  *Николай Асеев и Борис Пастернак. 1942 г.*  Разоблаченная морока - i_043.jpg  *Чистополь, улица Ленина, 75*  *Дом, в котором жил Н. Н. Асеев*  И Асеев согласился вынести вопрос на заседание.  Но на заседании Совета резко недоброжелательную позицию занял драматург Константин Тренев. Год назад он передал для Цветаевой то ли 50, то ли 100 рублей, по случаю, вместе с Маршаком, и теперь запальчиво говорил об «иждивенческих настроениях» недавней белоэмигрантки. (Пьеса Тренева «Любовь Яровая» шла в это время во многих театрах страны, неплохо подкармливая своего автора.) Асеев же не стал активно защищать интересы Цветаевой. Может быть, побоялся спорить с треневской аргументацией («муж — белогвардеец, сама — белоэмигрантка, а Чистополь и без того переполнен…»).  Может быть, берег свое спокойствие: окажись Цветаева совсем рядом, труднее было бы увильнуть от дальнейших забот и хлопот о ней…  Расстроенная Флора совсем было уж собралась телеграммой сообщить неутешительный результат Марине Цветаевой, но прямо на почтамте ее отговорила от этого случайно оказавшаяся рядом Лидия Чуковская.  — Такую телеграмму отправлять нельзя, — сказала она Флоре. — Вы же сами говорите, что Марина Ивановна в дурном состоянии.  — Так что же, по-вашему, делать? — спросила Флора.  — Настаивать! Хлопотать! Что за разница Союзу писателей, где именно будет Цветаева жить? Была же она прописана в Москве или в Московской области, почему же ее не прописывают здесь? (Пересказываю по тексту воспоминаний Л. К. Чуковской «Предсмертие».)  О вынесенном решении Цветаева узнала, уже приехав в Чистополь. От самого ли Асеева или от Флоры? Неизвестно. Да это и не имеет значения.  Во всяком случае, у Асеева она побывала.  И тут, глядя в глаза Марине Ивановне, поэт устыдился.  Сам он не пошел в Совет — у него было обострение туберкулеза, но, видимо, именно его хлопотами уже на следующий день после приезда Марины Ивановны в Чистополь правление опять рассматривало тот же вопрос. Асеев переслал от себя письмо — теперь оно поддерживало просьбу Цветаевой.  (Жена Асеева утверждала спустя много лет, что Николай Николаевич просто процитировал в своем «послании» текст из известного рассказа Льва Толстого «Люцерн» — о том, что художника надо уметь ценить еще при жизни. Если так, то это мог быть следующий текст: «Вот она, странная судьба поэзии. <…> Все любят, ищут ее, одну ее желают и ищут в жизни, и никто не признает ее силы, никто не ценит этого лучшего блага мира, не ценит и не благодарит тех, которые дают его людям…»)  Была ли Марина Ивановна у Асеева только однажды?  Какой именно оказалась эта встреча?  Какие темы обсуждались помимо разрешения на прописку?  И — что особенно важно! — *оставались ли они наедине*, без Ксении Михайловны, дабы можно было обсудить темы щепетильные?  Ничего достоверного об этом мы не знаем. Уверенно можно сказать немногое. То, что заряда бодрости Асеев Цветаевой, во всяком случае, не прибавил. Серьезной помощи ни в чем не обещал и чистопольскую ситуацию обрисовал мрачно.  А похоже, что и запугал — невозможностью найти литературную работу. Это было в общем-то неправдой: литераторы, осевшие в Чистополе, и с лекциями выступали на заводах и в клубах перед рабоче-крестьянской аудиторией, и литературные вечера устраивали, и в газетах местных и дальних стихи печатали, и в редакции местного радиовещания подрабатывали. Но и то верно, что все это было не для Цветаевой. Невозможно представить ее разъезжающей с лекциями или приносящей злободневные стихи в редакцию чистопольской газеты! |

36

|  |
| --- |
| Только в ноябре появится в Чистополе Константин Федин в роли уполномоченного правления Союза советских писателей. Эвакуированные получат с этих пор несколько более защищенный статус…  Цветаева же могла в эти дни убедиться, что письмо в адрес правления — это асеевский максимум. И только на него он был способен.  Но, с другой стороны, можно быть уверенными в том, что ни упреков, ни претензий Цветаева при встрече не выразила. Иначе стало бы невозможным ее предсмертное письмо, «завещавшее» Асееву сына.  Чистопольские ночи Цветаева проводит в здании Педагогического училища, превращенного в общежитие эвакуированных.  С 25-го на 26-е ночует в комнате Валерии Навашиной (тогда она была женой Константина Паустовского). С 26-го на 27-е — в комнате, где жила Жанна Гаузнер, дочь поэтессы Веры Инбер. Марина Ивановна немного знала ее по Парижу.  Тут все друг друга знали — и, значит, *знали опыт* всех вокруг. За два дня было достаточно возможностей собрать информацию о Чистополе. Пугали ли Цветаеву трудностями — или же, наоборот, ободряли, обещали помочь, вселяли надежду? Чужой опыт все равно примеряется на себя с трудом; сколько людей — столько оценок и мнений.  Но похоже на то, что минусов здесь Марина Ивановна увидела гораздо больше, чем ожидала.  Мертвенную застылость отмечают в облике чистопольской Цветаевой почти все. В воспоминаниях Флоры Лейтес, приведенных в книге Белкиной, сказано, что Марине Ивановне трудно было смотреть в глаза — такой безысходностью был полон ее взгляд. Почти слово в слово то же повторяла в устном рассказе и Татьяна Алексеевна Евтеева-Шнейдер.  С Лидией Корнеевной Чуковской Цветаеву знакомят на улице; Марина Ивановна произносит при этом приветливые слова. Но они, как пишет Чуковская в своем мемуарном очерке, «не сопровождались, однако, приветливой улыбкой. Вообще никакой улыбкой — ни глаз, ни губ. Ни искусственно светской, ни искренне радующейся. Произнесла она свое любезное приветствие голосом без звука, фразами без интонаций». И другой литератор, Петр Семынин (в том же очерке Чуковской), называет безжизненно «механическим» голос Цветаевой, повторявшей как бы заранее заученные фразы.  26 августа, на второй день пребывания Марины Ивановны в Чистополе, Чуковская встречает ее в коридоре горсовета, напротив комнаты с табличкой «Парткабинет».  «Прижавшись к стене и не спуская с двери глаз, вся серая, — Марина Ивановна.  — Вы?! — так и кинулась она ко мне, схватила за руку, но сейчас же отдернула свою и снова вросла в прежнее место. — Не уходите! Побудьте со мной!»  За ведомственной дверью как раз в эти минуты повторно обсуждался вопрос о возможности переезда Цветаевой в Чистополь.  Саму Марину Ивановну там уже выслушали, теперь она удалена в коридор и ждет решения.  «Сейчас решается моя судьба, — проговорила она. — Если меня откажутся прописать в Чистополе, я умру. Брошусь в Каму».  Отметим: эти минуты перед дверью парткабинета в глазах самой Цветаевой — роковые. Решение, которое будет вынесено, определит — ни больше ни меньше — вопрос, оставаться ли ей дольше на этом свете.  — Тут, в Чистополе, люди есть, а там никого. Тут хоть в центре каменные дома, а там — сплошь деревня.  «Я напомнила ей, — продолжает Чуковская, — что ведь и в Чистополе ей вместе с сыном придется жить не в центре и не в каменном доме, а в деревенской избе. Без водопровода. Без электричества. Совсем как в Елабуге.  — Но тут есть люди, — непонятно и раздраженно повторила она. — А в Елабуге я боюсь».  Не удается достоверно выяснить, присутствовал ли на заседании Совета К. Г. Паустовский. В Чистополь он приехал еще 20 августа, известно, что он пробыл здесь всего недели две, затем уехал в Алма-Ату с Навашиной и Шнейдерами. Но по свидетельству Смирновой, он не только присутствовал, но и горячо выступал в защиту Цветаевой.  Вскоре выйдет из дверей парткабинета Вера Васильевна Смирнова и сообщит, что дело решилось благоприятно. Цветаева может хоть сейчас идти подыскивать себе жилье — это не слишком сложно, и, как только его найдет, все будет окончательно подписано, она может переезжать.  Смирнова возвращается в парткабинет, Чуковская с Цветаевой выходят из здания горсовета на площадь.  «И тут меня удивило, что Марина Ивановна как будто совсем не рада благополучному окончанию хлопот о прописке.  — А стоит ли искать? Все равно не найду. Лучше уж я сразу отступлюсь и уеду в Елабугу.  — Да нет же! Найти здесь комнату совсем не так уж трудно.  — Все равно. Если и найду комнату, мне не дадут работать. Мне не на что будет жить».  Отметим еще одно: «мне не дадут работать». Она могла бы сказать: «я не найду», но говорит: «не дадут работать».  А ведь только что решилось то, что она сама назвала судьбой! И решилось наилучшим образом: можно не откладывая переезжать в Чистополь, где ее знают и вот ведь — поддерживают! — где есть Асеев и какая-никакая защита организованного братства эвакуированных.  Но Чуковская замечает: в ее спутнице — ни проблеска радости.  Едва исчезло препятствие, казавшееся непреодолимым, как на его месте вырастает — и разрастается — другое, тут же гасящее облегчение.  Чувство безысходности не рассеялось.  Вместо того чтобы уже свершиться, казнь продлена.  И значит, нужны новые усилия.  Чуковская соглашается вместе идти искать жилье, так как Марина Ивановна совсем не ориентируется в незнакомых местах.  По дороге возникает разговор, чрезвычайно важный для уяснения душевного состояния Цветаевой.  (Напомню здесь читателю, что «Предсмертие» написано на материале личного дневника, который Чуковская вела многие годы своей жизни, в том числе и в Чистополе. Присоединим к этому еще и особый авторитет этого автора, щепетильно и педантично приверженного правде, никогда не разукрашенной придуманными подробностями.  Все это придает в наших глазах неоценимую важность *именно ее свидетельству* о встрече с Цветаевой за несколько дней до трагического события.)  «— Скажите, пожалуйста, — тут она приостановилась, остановив и меня, — скажите, пожалуйста, почему вы думаете, что жить еще стоит? Разве вы не понимаете будущего?  — Стоит — не стоит — об этом я давно уже не рассуждаю. У меня в тридцать седьмом арестовали, а в тридцать восьмом расстреляли мужа. Мне жить, безусловно, не стоит, и уж, во всяком случае, все равно — как и где. Но у меня дочка.  — Да разве вы не понимаете, что все кончено? И для вас, и для вашей дочери, и вообще.  Мы свернули в мою улицу.  — Что — все? — спросила я.  — Вообще — все! — Она описала в воздухе широкий круг своим странным на руку надетым мешочком. — Ну, например, Россия!  — Немцы?  — Да, и немцы».  Остановимся еще раз, чтобы расслышать это: *«и немцы»*.  Я переспрашивала Лидию Корнеевну об этих фразах. Да, так они ей помнятся, так записаны тогда, так звучали в ушах: «Да, и немцы», «Ну, например, Россия». Из чего достаточно ясно, что не в одних только немцах и даже не только в России дело.  Рискну досказать.  В глазах Цветаевой происходящая вокруг катастрофа превышает кошмар войны. Надвигается, поглощая и Россию, бедствие глобального масштаба. Темные силы мира воплотились в «нелюдей», в их руках — абсолютная власть и сила, безжалостная к человеку. Туча гитлеровской армии, поглощающая русские земли, — только один из ликов торжествующего зла…  Мне кажется, именно об этом — не о меньшем! — говорит Марина Ивановна 26 августа 1941 года, за четыре дня до своей гибели.  Говорит единственному человеку, встреченному после отъезда из Москвы, в котором она угадывает сразу ту редкую породу людей, к которой принадлежит сама. Она говорит наконец собственным голосом, без оглядки.  Потому что *это ее масштаб оценок*, всегда присущий ей взгляд на происходящее — «с крыши мира», как назвала она это в одном из стихотворений.  Еще в те дни, когда чуть ли не в одночасье фашистские войска поглотили Чехословакию, Цветаева выразила трагедийное мироощущение современника в поэтическом слове. «Стихи к Чехии» потрясают редкостной мощью личного чувства, соединенного с даром укрупненного видения вещей и событий: |

37

|  |
| --- |
| Отказываюсь — быть.  В Бедламе нелюдей  Отказываюсь — жить.  С волками площадей  Отказываюсь — выть.  С акулами равнин  Отказываюсь плыть —  Вниз — по теченью спин.  Не надо мне ни дыр  Ушных, ни вещих глаз.  На твой безумный мир  Ответ один — отказ.  А ведь то была всего лишь весна 1939 года!  Правда, уже пробили удары колокола в судьбе самой Цветаевой.  К тому времени прошел год с тех пор, как уехала из Франции ее дочь; полгода назад уехал туда же муж. Когда мужа и дочь арестовали, Цветаева воспринимала собственную свободу скорее как ошибку и странный недосмотр. Так же как и свободу тех, с кем она еще встречалась.  Трагедийное напряжение эпохи властно вошло внутрь ее собственного дома еще в начале тридцатых годов, когда Эфрон подал прошение о возврате на родину.  Между тем Марина Ивановна начисто лишена спасительного свойства обыкновенных людей — приспособляться к непереносимому: хлопотать, обустраиваться, выживать — хотя бы и у подножия вулкана.  Она пыталась что-то делать и даже иногда проявляла неожиданную предусмотрительность (вроде писем Чагина, например, вывезенных из Москвы). По она не могла стать другой, если бы и захотела. Не могла перестать слышать то, что слышала. И переживать всё с разрывающей сердце остротой — так, как ощущала и переживала всё всю свою жизнь.  «В Вас ударяют все молнии, а Вы должны жить», — писала она Борису Пастернаку семнадцать лет назад, почти что в другой жизни. Так, во всяком случае, было с ней самой.  Мир стремительно поглощала черная тень побеждающего морока, захватившего весь горизонт.  Пепел погибших стучал в ее сердце, равно как и страдания тех, кто еще только был обречен, приуготовлен на муку и смерть.  **7**  Чуковская приводит Марину Ивановну к своим новым друзьям Шнейдерам. Лидия Корнеевна и сама познакомилась с ними недавно, по дороге в Чистополь.  Нежданную гостью встречают с теплым радушием. Выясняется, что в этом доме знают и любят ее стихи и искренне рады ей самой.  После чая и разговоров Цветаева читает «Тоску по родине».  Тоска по родине! Давно  Разоблаченная моро́ка!  Мне совершенно всё равно —  *Где* совершенно одинокой  Быть, по каким камням домой  Брести с кошелкою базарной  В дом и не знающий, что — мой,  Как госпиталь или казарма.  И дальше:  Остолбеневши, как бревно,  Оставшееся от аллеи —  Мне все — равны, мне всё — равно,  И, может быть, всего равнее —  Роднее бывшее — всего.  Все признаки с меня, все меты.  Все даты — как рукой сняло:  Душа, родившаяся — где-то.  Как должна была прозвучать тогда эта предпоследняя строфа:  Так край меня не уберег  Мой, что и самый зоркий сыщик —  Вдоль всей души, всей — поперек!  Родимого пятна не сыщет!  Она не дочитывает стихотворение до конца, обрывает раньше. И звучит в нем теперь лишь отречение, полное горечи, сплошная боль оставленности — без намека на смягчение сердца нежностью к родной земле. Пронзительно оборванной последней фразы: «Но если по дороге — куст / Встает, особенно — рябина…» — в доме Шнейдеров не прозвучит.  Ее просят прочесть «Стихи к Блоку». Она отмахивается: «Старье!» Она хочет читать только то, что сегодня звучит в ее душе.  Ни Шнейдеры, ни Чуковская не знают ее таланта в расцвете, их восхищение обращено к той, молодой, почти что начинающей, от которой она так давно и далеко ушла.  И Марина Ивановна обещает попозже, этим же вечером, непременно прочесть «Поэму Воздуха».  Кажется, она немного отстранилась от ужаса, который носит в себе. Попав в живую атмосферу милого дома, она распрямляется. Чуковская пишет: «Марина Ивановна менялась на глазах. Серые щеки обретали цвет. Глаза из желтых превращались в зеленые. Напившись чаю, она пересела на колченогий диван и закурила. Сидя очень прямо, с интересом вглядывалась в новые лица. <…> С каждой минутой она становилась моложе…»  Четыре дня отделили это чаепитие у Шнейдеров от рокового дня в Елабуге.  Я спрашивала у Лидии Корнеевны: как она относится к версии о психическом надломе, почти что душевной болезни? В ответ Чуковская энергично протестует. Подавленность, бесконечная усталость, с трудом заглушаемое отчаяние — да, это было. Но когда она говорила, от нее исходила энергия как бы даже вопреки смыслу произносимых ею слов. Конечно, у нее были на исходе силы, душевные и физические, — но это совсем другой вопрос.  Итак, после благоприятного решения чистопольского Совета Марина Ивановна проводит несколько часов в баюкающей дружеской обстановке. Ее выслушивают с неподдельным интересом, о чем бы она ни заговорила. Ей предлагают конкретную помощь: обед и ночлег сегодня, а завтра — совместные поиски жилья. И Цветаева, конечно, чувствует, что этим людям можно довериться, хотя еще несколько часов назад она их не знала…  Но потом она спохватилась.  Оказывается, у нее назначена встреча.  С кем? Где?  По воспоминаниям Чуковской, Марина Ивановна сказала Шнейдерам (сама Лидия Корнеевна в это время ненадолго ушла); что ее ждут в гостинице. Но в устном рассказе Татьяны Алексеевны, спустя несколько десятилетий, звучал иной вариант: Цветаева будто бы сказала, что пойдет к Асееву. И вернется обратно к восьми часам.  Но не вернулась.  Слово «гостиница» может насторожить. В те давние времена свидания в гостиницах любили назначать чиновники из «органов».  В данном случае, однако, в это не верится.  Скорее всего, гостиницей Марина Ивановна назвала то самое общежитие, где она ночевала.  И там она действительно появилась, но уже поздним вечером, усталая, измученная. Еще подробность (разысканная Белкиной): у нее сильно болели ноги. Согрели воду, и в комнате, где жили Жанна Гаузнер и семья Натальи Соколовой, Марина Ивановна сидела на скамеечке, опустив ноги в таз и низко склонив голову…  Где она была перед тем? Почему так устала? Отчего не вернулась к Шнейдерам?  В последнем, впрочем, нет ничего особенно странного: не для того она покинула в Елабуге сына (с которым впервые в России была в разлуке), чтобы читать стихи и вести общие разговоры в милом интеллигентном семействе.  Существует и другая версия той же встречи на квартире Шнейдеров. Ее записал в 1965 году со слов Татьяны Алексеевны Л. А. Левицкий. В этом рассказе есть некоторые новые оттенки — и я перескажу запись в главных чертах.  Услышав фамилию женщины, которую привела Чуковская, Татьяна Алексеевна от неожиданности не сразу поняла, что перед ней *та самая* Цветаева, стихи которой она давно знала и любила. Одежда гостьи показалась ей убогой: выцветшая кофта, старая юбка. Говорила она поначалу путано, мысль ее скакала. Потом пришел Михаил Яковлевич Шнейдер и неожиданно заговорил с Мариной Ивановной сухим, жестким, чуть ли не глумливым тоном. Цветаева съежилась, Татьяна Алексеевна прикрикнула на мужа, и потом тот говорил уже мягче. |

38

|  |
| --- |
| Но беседа не клеилась. Сели обедать. Понемногу Марина Ивановна оттаивала. После обеда она настояла на том, чтобы помочь хозяйке дома вымыть посуду. Выражение ее глаз поразило Татьяну Алексеевну — это были мертвые глаза, глаза человека, о котором говорят: «он не жилец на этом свете»…  Подробности этого воспоминания позволяют объяснить, почему к концу того дня Цветаева предпочла переночевать не в относительно благополучном доме Шнейдеров, а в литфондовском общежитии.  8  Возможно, и в самом деле Марина Ивановна еще раз зашла к Асееву. Это выглядело бы естественно: прийти, чтобы поблагодарить и сообщить о результативности его, асеевского, заступничества. И теперь, когда главное препятствие уже устранено, поговорить, скажем, о возможностях заработка в Чистополе.  Или — *о том, другом*. Об угрозах. Если существовал предмет этого *другого*.  Может быть, накануне такой разговор не получился и она надеялась, что теперь обстоятельства будут более благоприятными?  И не потому ли еще оставалась в ней безысходность, что *та* тень продолжала висеть?  Но этого мы не знаем и не узнаем, по-видимому, уже никогда. Доподлинно известно другое: дочь Цветаевой, Ариадна Сергеевна Эфрон, до конца своей жизни белела при упоминании имени Асеева. В ее письме к Пастернаку от 1 октября 1956 года мы находим беспощадные строки. «Эти имена, — пишет она о Цветаевой и Асееве, — соединимы только, как имена Каина и Авеля, Моцарта и Сальери. <…> Для меня Асеев — не поэт, не человек, не враг, не предатель — он убийца, а это убийство — похуже Дантесова».  Резкость суждений и категоричность оценок — черта, характерная для дочери Цветаевой. Но занять объективную позицию в таком вопросе, как самоубийство матери, — нелегко.  Дочь знала подробности последних дней Марины Ивановны из дневника брата (с которым она так больше и не увиделась: к моменту ее освобождения из лагерей он был убит на войне). С другой стороны, Ариадна Сергеевна сообщала в письме к В. Н. Орлову двадцать четыре года спустя после гибели матери (31 августа 1965 года): «В короткий перерыв между лагерями и ссылкой я успела связаться с людьми, бывшими в то время в Елабуге, и записала с их слов то, что они тогда — всего 6 лет спустя — хорошо помнили». Но в рассказах, которые записала дочь Цветаевой, присутствуют многие огрехи памяти вспоминавших.  Разоблаченная морока - i_044.jpg  *Записка Цветаевой в Совет Литфонда*  Что касается роли Асеева в те дни, то после известия о гибели Цветаевой молва винила именно его в равнодушии и черствости. Не помог, не ободрил, не уговорил…  Но ведь помог? По крайней мере, с получением права на переезд?..  Однако память москвичей, живших в то время в Чистополе, удержала в облике лауреата Сталинской премии черты сибаритства и скаредности. Возможно, супруга поэта способствовала такой репутации, но Асееву не прощали многого. Того, например, что приехавшего отца он поселил отдельно от себя, в какой-то захудалой комнатушке, и кормился тот в плохой литфондовской столовой. А сын нес жирных гусей с базара. И Ксения Михайловна закупала там же мед — да не стаканчиками, как те, кому он нужен был для больных, а огромными банками, которые не удавалось спрятать в кошелке. «Наши Гусеевы отоварились», — ехидно шутили им вдогонку всегда полуголодные москвички.  Известно теперь и другое: Николай Николаевич сам в глубине собственного сердца не прощал себе вины перед Мариной Ивановной.  Знать бы, какой именно…  Он не был закоренелым злодеем, он был *только* равнодушен в те дни и труслив. И он очень не любил раздражать свою властную, лишенную всяких сантиментов жену. Рассказ Надежды Павлович подтверждает, что у Асеева совесть была перед Мариной Ивановной нечиста.  Павлович случайно встретилась с Николаем Николаевичем (незадолго до его смерти) в латышском местечке Дзинтари. Она увидела его в маленькой церквушке неподалеку от писательского Дома творчества. Он молился и плакал, стоя на коленях. А потом сам признался Павлович в том, что его так мучает: он очень виноват перед Мариной, очень во многом виноват… Так, без всяких иных подробностей, передала смысл его покаяния Павлович в 1979 году, стоя уже сама на пороге смерти. Но в признании Асеева, скорее всего, подробностей и не было.  Итак, последний ночлег Цветаевой в Чистополе — в том же общежитии. Утром 27 августа она уже снова на пристани.  Пристани Камы в годы войны… То было страшное место. На пароходах везли с фронта раненых — в госпитали Сарапула и Перми. Стоянки непредсказуемо затягивались, и тогда тяжелораненых выносили на плащпалатках на берег. Те, кто мог держаться на ногах, выбирались сами, часто покинув койки в одном нижнем белье, — они пытались купить на берегу водку и папиросы.  Надеясь отыскать своих, ушедших воевать, к пристани сбегались местные женщины — и их вопли и рыдания долгим эхом отзывались в сердце. Строем шли к пристани новобранцы — чтобы уплыть в обратную сторону, — и провожал их тот же раздирающий душу бабий неумолчный стон.  На пристани в ожидании парохода, идущего в Елабугу, Цветаева успевает поговорить немного с Елизаветой Лойтер. Та едет в Казань. И вот еще один штрих для размышлений: Лойтер вспоминала впоследствии, что Марину Ивановну как будто не радовала перспектива переезда в Чистополь. Она была расстроена и удручена. Но чем же?..  9  Цветаева вернулась в Елабугу — в дневнике Мура об этом сообщается в записи от 28 августа. Фраза из письма Сикорской Ариадне Сергеевне: «Она вернулась такая окрыленная и обнадеженная» — не может иметь для нас веса, ибо не основана на личной памяти автора. Сикорской в эти дни в Елабуге не было. В рассказе же хозяйки елабужского дома Бродельщиковой, записанном в 1964 году Р. А. Мустафиным (самая ранняя из елабужских записей!), сказано иначе: приехала Марина Ивановна подавленная, поникшая. И это больше согласуется с остальными подробностями.  Но на следующий день после возвращения матери в дневнике Мура появляется запись: решение принято — завтра, то есть 30-го, они переезжают в Чистополь!  Решение кажется слишком уж стремительным. Но легко догадаться, что сам Мур страстно хотел уехать из Елабуги как можно скорее. Какие бы отрезвляющие подробности ни рассказала ему о Чистополе Марина Ивановна, сын уверен был, что хуже елабужской дыры ничего быть не может. Впрочем, хотел он больше всего вернуться в Москву, а не ехать в какой-то другой город. (И Мур, и его новые приятели: Вадим Сикорский, Саша Соколовский — они подружились за те десять дней, что вместе плыли на пароходе из Москвы, — буквально изводили своих родных требованием ехать обратно. Саша Соколовский даже пригрозил матери самоубийством — и он сделал такую попытку! Это произошло уже в сентябре…)  Но и еще одно обстоятельство заставляло, не откладывая, принимать решение об отъезде: сентябрь подступил вплотную. Муру пора было определяться в школу…  Слух о том, что постояльцы Бродельщиковых собираются куда-то переезжать, распространился, скорее всего, в те дни, когда Цветаева ездила в Чистополь. Но возможно, и еще раньше: вспомним свидетельство А. И. Сизова.  И вот в доме на улице Ворошилова появляется юная Нина Броведовская.  Она только что приехала из Чистополя. Возможно даже, что плыли они с Цветаевой на одном и том же пароходе. Нина была из Пскова, в Чистополе они с матерью оказались случайно, и им там очень не понравилось. Самостоятельная и энергичная, Нина отправилась в недалекую Елабугу — оглядеться и поискать жилье, если там покажется лучше. Сразу по приезде ей назвали адрес Бродельщиковых. Там, сказали ей, еще живет какая-то эвакуированная учительница, но собирается оттуда съезжать, что-то ее не устраивает. Фамилию хозяев Нина запомнила (правда, неточно — как Бродельниковых) из-за того, что она перекликалась немного с ее собственной — Броведовская. Запомнила она и дату своего приезда в Елабугу — 28 августа. Это был день рождения ее двоюродного брата, и Нина уже из Елабуги отправила письмо матери, напоминая ей, как ровно год назад брат приезжал к ним в Псков и они его поздравляли. |

39

|  |
| --- |
| В доме Бродельщиковых Нина застала только «учительницу», больше никого не было.  Судя по ряду деталей, можно высчитать, что это было 29 или 30 августа.  Беседу с Ниной Георгиевной Молчанюк, урожденной Броведовской, записывали в разное время Алена Трубицына из Набережных Челнов, много лет занимающаяся сбором материалов о последних днях Цветаевой, Лилит Козлова из Ульяновска, автор нескольких книг, посвященных Цветаевой; известно также, что беседовала Молчанюк и с Анастасией Ивановной Цветаевой, и с сотрудниками Музея изобразительных искусств в Москве. Существует собственноручное письмо Молчанюк, адресованное сотруднице музея А. А. Демской, с подробным рассказом о той давней встрече.  Разночтений в записях почти нет, и, чтобы не упустить важных подробностей, я изложу сводный вариант.  Итак, когда Нина пришла в указанный дом, ее встретила как раз та квартирантка, которую назвали почему-то учительницей. Имени ее Нина, естественно, не спросила. Одета «учительница» была странно: на ней было что-то вроде фланелевого халата, а ноги укутаны в какие-то толстые обмотки.  Эти укутанные ноги наталкивают на мысль, что горячую ножную ванну принимала Цветаева в канун отъезда из Чистополя не от простой усталости. Боли в ногах, видимо, продолжались. И, кстати, в записи Мустафина Анастасия Ивановна Бродельщикова также вспоминает, что Марина Ивановна в самые последние дни (видимо, после возвращения из Чистополя) болела, лежала, потому и на расчистку аэродрома в роковой день 31 августа вместе со всеми пойти не могла. А ведь все должны были идти в тот день: и местные, и эвакуированные.  Отвечая на вопрос неожиданно появившейся девушки, «учительница» подтвердила, что они с сыном действительно собираются отсюда уезжать. Назван был Чистополь — город, где у них есть друзья: «они помогут нам устроиться».  И тут-то выяснилось, что сама Нина только что из Чистополя.  Она рассказала, что им с матерью не удалось там найти ни жилья, ни работы, что для Нины главное — устроить мать, потому что сама она непременно уйдет на фронт: она уже успела окончить фельдшерские курсы.  Цветаева пытается отговорить свою юную собеседницу от этих планов.  В Елабуге, по ее словам, жить невозможно, здесь «ужасные люди», да и во всех отношениях здесь гораздо хуже, труднее, чем в Чистополе.  И фронт — это не для девочки. Война — это грязь и ужас, это настоящий ад, и смерть на фронте — совсем не самое страшное из того, что там может случиться.  — Тем более, — добавила она, — что у вас есть мама. У меня — сын, он тоже все время куда-нибудь рвется. Он вот хочет вернуться в Москву, это мой родной город, но сейчас я его ненавижу… Вы счастливая, у вас есть мама. Берегите ее. А я одна…  — Но как же, ведь у вас сын? — возразила Нина с недоумением.  — Это совсем другое, — был ответ. — Важно, чтобы рядом был кто-то старше вас — или тот, с кем вы вместе росли, с кем связывают общие воспоминания. Когда теряешь таких людей, уже некому сказать: «А помнишь?..» Это все равно что утратить свое прошлое — еще страшнее, чем умереть.  Слова эти поразили Нину, как поразил ее и язык, речь женщины, так не вязавшиеся с ее затрапезной одеждой.  Отметим, что в беседе Цветаева уравновешенна, даже, пожалуй, рассудительна. Но тема войны и беспредельного одиночества обнаруживает кровоточащую рану.  Долгое время спустя после этой встречи Нина не раз вспоминала услышанное, настолько оно показалось ей важным; женщина вызвала и симпатию и сочувствие. Запомнить же недавний разговор во всех его подробностях заставили произошедшие вскоре трагические события.  Нина была еще в Елабуге, когда по городу разнеслась весть о самоубийстве одной из эвакуированных. Волей случая оказалась она и на елабужском кладбище в самый день похорон Цветаевой. И здесь только поняла, что самоубийца — ее недавняя собеседница.  Позже она узнала ее имя — Марина Цветаева.  Поразительное совпадение! Нина с детских лет слышала эту фамилию у себя в доме: Цветаев. Именно Цветаев, не Цветаева.  А все дело в том, что с Иваном Владимировичем, отцом Марины, состоял в интенсивной переписке дед Нины — преподаватель рисования в псковской гимназии; Цветаев даже послал ему то ли альбом, то ли какую-то книгу с дарственной надписью. Однако о Марине Цветаевой, поэте, Нина ничего не знала.  Она услышала о ней только теперь, вернувшись в Чистополь. Выяснилось, что мать Нины в юности увлекалась цветаевскими стихами. Она даже слышала, как читала их сама Марина вместе со своей сестрой Асей, — видела сестер в Крыму на литературных вечерах.  Естественно, что все подробности встречи с «учительницей» были пересказаны теперь матери и заново пережиты Ниной вместе с ней. Потрясение надолго сохранило их в памяти.  У меня нет сомнений в подлинности свидетельства Н. Г. Молчанюк.  Странным образом ощущение достоверности сразу возникло по отношению не только к внешним обстоятельствам встречи, но и к диалогу, хотя, кажется, труднее всего верить воспроизведению прямой речи, звучавшей более сорока лет назад (первые записи воспоминаний Молчанюк относятся к 1984 году). Но доверие появилось сразу: да, это цветаевские слова! Именно Цветаева могла сказать *так и об этом*.  Свидетельство Молчанюк соответствует решительно всему: характеру Марины Цветаевой, особенностям ее мироощущения и особенностям той ситуации, в которой она тогда оказалась…  (Подтверждение рассказу я нашла и в письмах Ариадны Сергеевны Эфрон. В двух письмах, адресованных в разное время разным людям, дочь Цветаевой повторяет знакомую нам мысль теми же словами: «9-го апреля похоронила последнего, кажется, человека, которому здесь, в России, могла говорить: “а помнишь?” — мужа моей давней приятельницы Нины Гордон; не знаю, знаешь ли ты ее. Мы с ним дружили еще во Франции, а с ней с первых дней моего приезда в СССР…» И еще в письме от 28 августа 1974 года примерно то же: «…какое счастье, когда каждое горе — пополам. А мне уже давно некому сказать: “а помнишь?” — хотя бы это сказать!»  Это неожиданное эхо — важный опознавательный знак. Очевидно, что в Елабуге Цветаева повторила незнакомой девушке то, что не раз говорилось в их доме и что безотчетно, как губка, впитала в себя Аля, выросшая под мощным излучением материнской личности…)  Эпизод этот в очередной раз опровергает версию о самоубийстве в Елабуге как акте, совершенном в состоянии разрушенной психики. Нет, и свидетельство Чуковской, и свидетельство Молчанюк, становясь в ряд с тремя предсмертными письмами, написанными обдуманно и трезво, — исключают возможность такой трактовки.  Добавим еще, что и бесхитростный Сизов, говоря о впечатлении, какое на него произвела Цветаева, подчеркивал: не похоже было, чтобы она готовилась тогда к чему-то страшному. Он чувствовал в ней, наоборот, желание вырваться из беды, что-то сделать для этого. «Устремленность в ней была», — настаивал Алексей Иванович…  Почему же не осуществился план отъезда в Чистополь 30 августа?  Может быть, по очень простой причине: просто потому, что ни в тот день, ни в ближайшие не оказалось пароходного рейса на Чистополь. Рейсы были тогда, по словам той же Молчанюк, весьма нерегулярными. Ведь именно поэтому — из-за отсутствия парохода — и сама Нина застряла тогда в Елабуге, хотя она получила от матери телеграмму и торопилась вернуться обратно.  Но вот еще одна запись в дневнике Мура: 30 августа упомянуты две «литературные дамы» — Ржановская и Саконская, из бывших попутчиц по пароходу. Они обсуждают с Цветаевой вопрос о переезде в Чистополь.  Именно они, пишет Мур, отговаривают Марину Ивановну уезжать! Они считали, что раз там, в Чистополе, нет ничего определенного, то и в Елабуге можно отыскать работу.  И Цветаева находит силы сделать последнюю попытку вытащить себя и сына из болота безнадежности.  Она идет — на больных ногах! — в пригород Елабуги, в овощной совхоз: там, сказали ей, можно договориться о заработке. Идет — и предлагает председателю совхоза свои услуги: вести переписку, оформлять какие-нибудь бумаги. |

40

|  |
| --- |
| — У нас все грамотные! — отрезал председатель.  Через несколько дней с тем же председателем случилось разговаривать одной молодой женщине, врачу. Слух о самоубийстве уже дошел тогда до совхоза. И председатель уже понял, что приходила к нему именно та усталая немолодая женщина, которая на следующий же день покончила с собой. «Я дал ей тогда пятьдесят рублей, просто чтобы не отпускать ни с чем, — рассказывал председатель. — Но она ушла, оставив деньги на моем столе. А больше я ничего не мог…» Эту подробность спустя много лет сообщила женщина-врач в письме к И. Г. Эренбургу…  Милостыня, поданная в тяжкие дни великому поэту, — не сыграла ли и она свою роль?  Кто отважится на попытку воссоздать мысли и чувства Цветаевой, возвращавшейся ни с чем долгой дорогой — обратно, на улицу Ворошилова?  Вспоминала ли она, как в Голицыне в предновогоднюю ночь она зашла в комнату Веприцкой, с которой успела подружиться. Та держала в это время в руках раскрытый томик Тютчева. Марина Ивановна попросила показать ей заложенное место и прочла строфу:  Дни сочтены, утрат не перечесть,  Живая жизнь давно уж позади,  Передового нет, и я как есть  На роковой стою очереди.  — Это про меня, — сказала тогда Марина Ивановна, — ведь я постучала к Вам, и Вы сказали, чтобы я вошла. Поэтому эта строфа непременно относится ко мне.  И есть еще свидетельство, теперь уже не поддающееся проверке, — о прогулке, имевшей место незадолго до рокового дня.  Александр Соколовский (тогда еще совсем юный приятель Мура, обожавший поэзию) рассказывал, что Цветаева предложила ему однажды погулять вместе по Елабуге. Они сделали не один круг; Марина Ивановна все время говорила на одну тему: о самоубийстве Маяковского. Что именно говорила, мы не знаем — Соколовский уже ушел из жизни.  Когда ее жалели друзья, Цветаеву тут же отпускало напряжение, помогавшее ей оставаться в форме, — слезы выступали на глазах, она не могла их удержать. Чужая доброта делала ее слабой, выставляла на яркий свет всю ее незащищенность.  И еще эпизод тех дней.  Десятилетний мальчик, тоже из эвакуированных, в один из теплых августовских дней забрел, гуляя, в пустующее здание церкви Покрова Божьей Матери, полуразрушенные купола которой видны были из окон дома, где жила Цветаева. Он заходил сюда уже много раз, подолгу разглядывал фрески, частично еще сохранившиеся на стенах. В тот день он увидел женщину с коротко стриженными полуседыми волосами. Щурясь, она вглядывалась в росписи стен, и мальчик заметил, что разглядывала она фреску со знакомым ему сюжетом. На ней святой Николай Мирликийский удерживал руку палача, который занес над осужденными свой меч.  — Он спасет их, — сказал мальчик женщине. — Ведь они ни в чем не виноваты.  — Я это знаю, — ответила женщина, поворачиваясь к мальчику.  И они разговорились. Он удивился ее лицу — оно было какое-то очень необычное.  — Где вы живете? — спросил мальчик.  — Тут, рядом, у фонтала, знаешь? — сказала женщина и улыбнулась ему. Фонтал — это звучит совсем как фонтан. Но мальчик знал, о чем говорила женщина: то была елабужская платьемойня, у которой женщины полоскали белье. Обычная водопроводная труба торчала там из земли, из нее, журча, вытекала вода.  Мальчик и сам жил неподалеку, на той же улице Ворошилова.  Они вместе вышли из церкви и еще немножко друг с другом поговорили.  А через день-другой мальчик увидел на их улице запряженную повозку и на ней — открытый гроб. Мальчик уже слышал об удавленнице, он подошел поближе к гробу и, заглянув в него, увидел знакомое странное смуглое лицо с тонким носом. Он узнал ее сразу — и убежал, потрясенный. Это была первая смерть, с которой он столкнулся в своей маленькой жизни.  Станислав Романовский позже жил в Москве. И он сказал мне, что мог бы еще многое добавить, относящееся к обстоятельствам трагического конца великого поэта. Но зачем? Пусть, говорит он, вершится Божий суд, а не людской… И только о той встрече в церкви он и рассказал — потому что тут уж никакие кривотолки ничего не могут исказить…  Что же стало последней каплей?..  Анастасия Ивановна Цветаева считала, что роль эту сыграла ссора с сыном 30 августа вечером.  Но не в первый раз мать с сыном говорили на повышенных тонах. Ссора ли то была или просто очередное объяснение с упреками со стороны Мура — никто уже и никогда не скажет. Но, ссорясь, они всегда говорили между собой по-французски; и смысла речей хозяева понять не могли.  Разоблаченная морока - i_045.jpg  *Покровская церковь в Елабуге*  По сравнению с тем, что приходилось переживать Цветаевой прежде, неудачи самых последних дней — комариные укусы. Но что они означали?  А то, что завтра, и послезавтра, и еще много дней (а может быть, и месяцев!) подряд ей придется продолжать, превозмогая себя, делать все новые и новые усилия.  В Елабуге или в Чистополе.  Искать жилье и работу. Получать унизительные отказы. Искать снова — и снова получать отказы.  Советы двух доброжелательниц, поколебавшие Марину Ивановну в решении немедленно уехать, пришлись на момент, когда пробовать новые варианты у нее *не оставалось никаких сил*.  10  Но где же сюжет с НКВД?  Кажется, что ему нет места в эти последние дни. По крайней мере, внешне.  Ибо, вернувшись из Чистополя, Цветаева — это теперь очевидно! — колеблется: стоит ли уезжать из Елабуги? Она увидела вблизи пределы преданности своего литературного друга; может быть, даже простодушно поверила, что он, Асеев, совсем ничего для нее сделать не может, кроме письма-ходатайства перед правлением. Увидела грязный, не слишком отличающийся от Елабуги город; поверила, что литературной работы там не найдет. С этим последним заключением она все-таки поторопилась, потому что, может быть, не сразу, но позже, с приездом Федина и Пастернака что-нибудь и для нее нашлось бы. Но Марина Ивановна спешила обратно к сыну и слишком была подавлена, чтобы разузнать обо всем подробнее. А если еще и Асеев сказал ей, к примеру, что на литературный заработок рассчитывать ей не придется, она поверила бы ему сразу и окончательно.  «А больше я ничего не умею…» — повторяла она много раз самым разным людям.  И в самом деле не умела.  И не могла — можем мы добавить. По той же веской причине не могла, по какой прачка не может станцевать партию Одетты в «Лебедином озере», даже в случае самой крайней необходимости.  Кстати говоря, тот же Сизов сообщил, между прочим, что Цветаева попробовала-таки себя в роли судомойки в Елабуге! Об этой попытке Сизову вскоре после нашумевшей истории с «удавленницей» рассказала официантка елабужского ресторанчика, что на улице Карла Маркса, в здании суда. Она услышала разговор знакомых клиентов за столиком и вмешалась:  — А я ее видела, эту вашу эвакуированную. Она ведь у нас судомойкой приходила работать. Да только полдня и проработала. Тяжело ей стало, ушла. Больше и не появилась…  Рассказ этот вернее отнести уже к фольклору; знающие люди утверждали, что не так-то просто было устроиться в те дни и на такую работу. Но если и в Чистополе ей светила только роль судомойки, пусть даже в столовой для писательских детей и жен, стоило ли переезжать?  Предположим все-таки, что главным импульсом поездки в Чистополь был страх. И жажда совета и поддержки. Тогда понятнее мрачное состояние Цветаевой, не исчезнувшее и после благополучного исхода заседания писательского правления. Если *эту* поддержку искала Цветаева в Чистополе, то очевидно, что ее она не нашла.  Разоблаченная морока - i_046.jpg  *Петропавловское кладбище вблизи Елабуги, на котором похоронена Марина Цветаева* |

41

Скорее всего, она не нашла даже случая обсудить *такую* тему с кем-либо. Новые знакомые у нее были и в Елабуге. А давние?.. Не с Жанной же Гаузнер, человеком другого поколения, было ей советоваться!

И еще: она могла понять за время поездки, что от всевидящего ока Учреждения все равно не убежишь. Там ли, здесь ли…

Согласиться на доносительство — такого вопроса перед ней не стояло. Но чего можно опасаться в случае отказа? Место переводчицы ей, во всяком случае, не дали. Приятель М. Н. Бродельщикова Евгений Иванович Несмелов, рассказывавший мне в Елабуге о хозяевах дома, где жила Цветаева, передал их слова: «в переводчицы ее не взяли по анкете». Но ведь предлагали, уже зная обо всех особенностях ее биографии! Не было ли это первым ответом «органов» на отказ сотрудничать? Чего можно было ждать от них еще? Для себя и для сына?

Вот где в самом деле встает призрак того *тупика*, о котором напишет Марина Ивановна в предсмертном письме сыну. «Передай папе и Але — если увидишь — что любила их до последней минуты и объясни, что *попала в тупик*». Последние слова подчеркнуты Цветаевой.

Другого тупика, если оценивать ситуацию спокойно, в этот момент *не было*.

И ведь ясно, что поездка в Чистополь *увенчалась успехом* — если целью был переезд. Разрешение-то было получено! Найти жилье — все говорили — проблема решаемая; хорошие люди обещали помочь и в поисках работы… В этих известных нам обстоятельствах сторонний взгляд не находит тупика.



*В 1970 г. Союз писателей Татарии поставил памятник на могиле поэта. Однако до сих пор нет уверенности, что Цветаева похоронена именно здесь*

*Фотография А. Ханакова*



*Влево от новых ворот кладбища — маленькая ограда; это еще одна предполагаемая могила Марины Цветаевой*

*Фотография А. Полозова*

Остаются неизвестные.

И еще остается наше знание о полной утрате Мариной Ивановной внутреннего спокойствия.

Спустя два года Мур признался в письме к Гуревичу, что незадолго до трагической гибели мать «совсем потеряла голову», а он только злился за ее «внезапное превращение». Приведу без сокращений эти три важные фразы из письма, написанного Муром 8 января 1943 года:

«Я вспоминаю М. И. в дни эвакуации из Москвы, ее предсмертные дни в Татарии. Она совсем потеряла голову, потеряла волю. Она была одно страдание. Я тогда совсем не понимал ее и злился за ее внезапное превращение».

Отметим: для сына, который был рядом с матерью все эти месяцы, ее состояние незадолго до гибели выглядело как *«внезапное превращение»*.

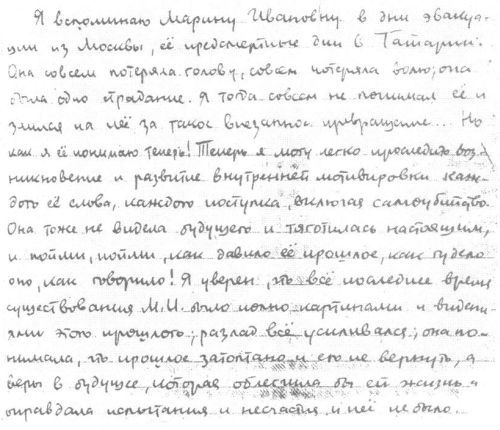
Однако осознает это Мур позже.

В Елабуге же в последние дни августа, когда силы матери на исходе, а ее душевное напряжение усугубляется физическим недомоганием, шестнадцатилетний подросток, крайне раздосадованный новой отсрочкой отъезда, не находит в себе ни единой капли сочувствия.

Он зол и жесток.

В его дневнике 30 августа появляется запись:

«Мать как вертушка совершенно не знает, оставаться ей здесь или переезжать в Ч. Она пробует добиться от меня “решающего слова”, но я отказываюсь это “решающее слово" произнести, потому что не хочу, чтобы ответственность за грубые ошибки матери падала на меня. <…> Пусть покажет на деле, насколько она понимает, что мне больше всего нужно. Во всех романах и историях, во всех автобиографиях родители из кожи вон лезут, чтобы обеспечить образование своих rejetons [2] <…> Мать совершенно не знает, чего хотеть. Я, несмотря на “мрачные окраины”, склонен ехать в Чистополь, потому что там много народа, но я там не был, не могу судить, матери — видней. <…> Мое пребывание в Елабуге кажется мне настоящим кошмаром. Главное, это все время меняющиеся решения матери, это ужасно».



*Фрагмент письма Г. Эфрона С. Д. Гуревичу от 25 мая 1942 г.*

Что из записанного сын произнес вслух?

Не пройдет и суток после этой записи до того момента, как ноги подкосятся у юнца, пытавшегося рассуждать об ответственности.

Он сядет прямо в дорожную пыль, услышав от хозяйки дома о том, что матери уже нет в живых…

11

31 августа 1941 года.

Яркий солнечный день. Все ушли из дома, кроме нее, и она знала, что ушли надолго. Три записки, оставленные на столе, лаконичны, но каждое слово в них — выверено.

Она уходит из жизни в последний день лета. Уходит в конечном счете потому, что видит себя на грани — взнуздания теми силами, подчиниться которым ее дух не может.



*Открытие мемориальной доски на доме в Елабуге*

Это была ее особенность в отношении к смерти. В зрелые свои годы она постоянно думает и пишет о *смерти добровольной*.

Смерть как протест — если уже не осталось надежды иначе одолеть принуждение. Смерть, если нельзя *быть* — то есть жить по собственным высшим законам.

Не возьмешь моего румянца *—*

Сильного — как разливы рек!

Ты охотник, но я не дамся,

Ты погоня, но я есмь бег.

Не возьмешь мою душу живу!

Так, на полном скаку погонь —

Пригибающийся — и жилу

Перекусывающий конь

Аравийский.

Так горделиво писала она еще в двадцать четвертом. И это победоносное чувство пронесла через всю жизнь.

Ее жизнь, как она была задумана Богом, черпала силы из двух источников: сердцем принятого на себя долга заботы о близких — и роскоши творчества.

И нужно-то было теперь, в сущности, немногое. Минимальный заработок, чтобы прокормить сына и чтобы отсылать время от времени посылки дочери и мужу в лагерь. И возможность несколько часов в день склоняться над листками бумаги с пером в руке.

(Когда она записала свою последнюю поэтическую строку? Или — на худой конец — последнюю фразу в дневнике? «Писать перестала — и *быть* перестала» — эту формулу, звучащую как приговор, она занесла в свою рабочую тетрадь еще в сороковом году.)

Она всегда называла себя семижильной. И у нее хватило бы сил сопротивляться всем оперуполномоченным мира, как и прочим бедам, — если бы не были уже перекрыты оба источника, обе опоры ее существования. Что оставалось ей теперь?..

31 августа она делает шаг в пространство свободы.

12

Когда во Франции она спорила с мужем и дочерью о том, что именно происходит в Советской России, ей казалось, что они ослеплены и одурачены, а она в отличие от них трезва в своих оценках.

Но как же далеко было ей до трезвости! Какие залежи иллюзий должны были разорваться в ней со звоном и грохотом, едва она ступила на землю отечества!

Она была готова ко многому, но не к такому.

Чего она опасалась? Что ее не будут печатать, что Муру забьют голову пионерской чушью, что жить придется в атмосфере физкультурных парадов и уличных громкоговорителей… Вот кошмары, на съедение к которым она ехала. Хотя не забудем самого существенного: выбора у нее не оставалось — выбор за нее сделала ее семья.

Она пыталась и не могла представить себя в Советской России — со своим свободолюбием и бесстрашием, которое называла «первым и последним словом» своей сущности. С этим-то бесстрашием — подписывать приветственные адреса «великому Сталину»? А ведь даже подпись Пастернака она с ужасом обнаружила однажды в невероятном контексте на странице советской газеты.

Но ей и во сне не могло присниться, что на самом деле ждало ее в отечестве.

Не приветственные адреса ей пришлось здесь подписывать, а челобитные и мольбы о помощи. Тому, кто вдохновлял и вершил беззаконие, кто ставил ее дочь раздетой в узкий ледяной карцер, где нельзя ни сесть, ни прислониться к стенам, а мужа доводил истязаниями до галлюцинаций.

Бесстрашие… Оно становится картонным словом из лексикона рыцарских романов, когда на карте оказывается не собственное спасение, а жизнь твоих близких.

Оно сменяется обратным чувством: неисчезающим страхом. За родных. Но и за себя, потому что тебя стремятся превратить в крест для распятия самых дорогих тебе людей.

«Вчера, 10-го, — записывала Цветаева в январе 1941 года в черновой тетради, не договаривая, проглатывая куски фраз, — у меня зубы стучали уже в трамвае — задолго. Так, сами. И от их стука (который я, наконец, осознала, а может быть, услышала) я поняла, что я боюсь. *Как* я боюсь. Когда, в окошке, приняли — дали жетон — (№ 24) — слезы покатились, точно только того и ждали. Если бы не приняли — я бы не плакала…»

Ясен ли перевод на общечеловеческий? Она едет в тюрьму с передачей для мужа, о котором полтора года не знает ничего. Единственный способ узнать, жив ли он, — передача: приняли — значит, жив. Не за себя она в эти минуты боится, боится страшного известия. А вдруг на этот раз не примут?

Короткая запись в другом месте тетради: «Что мне осталось, кроме страха за Мура (здоровье, будущность, близящиеся 16 лет, со своим паспортом и всей ответственностью)?»

И еще запись, вбирающая все частности: *«Страх. Всего»*.

Оба слова подчеркнуты. Это записи в рабочей тетради Цветаевой 1940–1941 годов.

Зимой и весной 1940 года ее мучили ночи в Голицыне: звуки проезжающих мимо машин, шарящий свет их фар. И Татьяне Кваниной она говорит как бы невзначай: «Если за мной придут — я повешусь…»

В ее письмах 1939–1941 годов — россыпь признаний, в которых отчетливо прочитывается этот страх собственного ареста. И может быть, ареста Мура. Разве не арестовали уже Андрея Трухачева — сына сестры Аси? И сына Клепининых Алексея?

Перед самым отъездом в эвакуацию ей необходимо было взять из жилищной конторы справку. Но она боится идти за ней сама и просит сделать это Нину Гордон: если она сама придет за справкой, ее тут же заберут. Она боится своего паспорта — он «меченый». Боится паспорта Мура. Боится, по воспоминаниям Сикорской, заполнять анкеты; там что ни вопрос — подножка: где сестра, где дочь, где муж, откуда приехали.



*Цветаева в Голицыне. Дом отдыха писателей. 1940 г.*

Соседка по квартире на Покровском бульваре (тогда еще десятиклассница) Ида Шукст вспоминает, что Цветаева боялась сама подходить к телефону и сначала узнавала через нее, кто спрашивает.

Однажды — уже началась война — в квартиру без предупреждения пришел управдом. «Марина Ивановна встала у стены, раскинув руки, как бы решившаяся на все, напряженная до предела. Управдом ушел, а она все стояла так». Оказалось, он приходил просто чтобы проверить затемнение. Но Цветаева слишком хорошо помнила появление коменданта на даче в Болшеве осенью тридцать девятого: всякий раз ему сопутствовал очередной обыск — и арест.

Она боится довериться новым знакомым. Сикорская пишет об этом довольно резко: «Ей все казались врагами — это было похоже на манию преследования».

Преувеличены ли были все эти страхи? Нисколько.

И об Ахматовой говорили, что она преувеличивает внимание Учреждения к своей особе. Но теперь-то уже точно известно: ничуть не преувеличивала! Досье на Ахматову, обнаруженное в недрах бывшего НКВД, заведено было в 1939 году и составило три тома!

Отметим, однако, важное различие в трагическом самоощущении двух русских поэтов. Ахматова прожила на родной земле всю свою жизнь; само по себе это не подвиг и не заслуга, но это постепенное привыкание к урезаемой свободе. Цветаева очутилась в России после семнадцати с лишним лет разлуки. И о *таком* чудовищном разгуле беззакония и лицемерия, пронизавших страну снизу доверху, она, конечно, не догадывалась. Вот почему то, что обрушилось тут на ее семью, вызвало у нее такой шок.

Мир пошатнулся бы не так сильно в ее глазах, если бы ордер на арест предъявили ей самой. Но увели Алю и мужа! Тех, кто так рвался в СССР, у кого все тридцатые годы с уст не сходили слова преданности Стране Советов!

«Во мне уязвлена, окровавлена самая сильная моя страсть: справедливость», — записывала Марина Ивановна в своей тетради. Она все еще не догадывалась (запись относится к началу 1941 года), что принимать так близко к сердцу попрание справедливости в ее отечестве равнозначно скорби об отсутствии снега в Сахаре.

Но таков ее сердечный ожог. Повторю в очередной раз: безмерная острота реакций — отличительная черта ее природного склада.

Поначалу она, видимо, хотела сделать это в маленькой пристройке рядом с сенями и даже занавесила там тряпкой окошко. Но потом передумала, потому (так считала Бродельщикова), что в пристройке обычно спали дед с внуком. И выбрала сени. В перекладину там был вбит толстый гвоздь с крупной шляпкой…

Она закрутила изнутри веревкой дверь, подставила стул…

В их комнатке на столе оставлены три письма.

Сыну:

«Мурлыга! Прости меня, но дальше было бы хуже. *Я тяжело-больна*, это уже не я. Люблю тебя безумно. Пойми, что я больше не могла жить. Передай папе и Але — если увидишь — что любила их до последней минуты и объясни, что *попала в тупик»*.

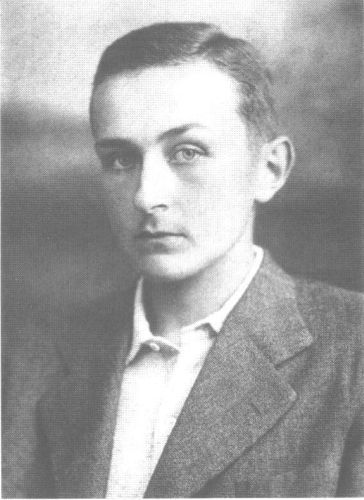
Эвакуированным москвичам:

«Дорогие товарищи!

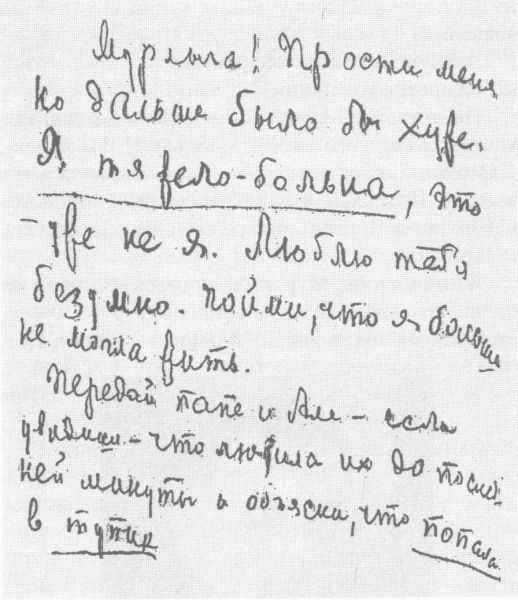
Не оставьте Мура. Умоляю того из вас, кто может, отвезти его в Чистополь к Н. Н. Асееву. Пароходы — страшные, умоляю не отправлять его одного. Помогите ему и с багажом — сложить и довезти в Чистополь. Надеюсь на распродажу моих вещей.

Я хочу, чтобы Мур жил и учился. *Со мною он пропадет*. Адр. Асеева на конверте.

Не похороните живой! Хорошенько проверьте».



*Георгий Эфрон. Сентябрь 1941 г.*



*Предсмертная записка Муру*

Асееву:

«Дорогой Николай Николаевич!

Дорогие сестры Синяковы![3]

Умоляю вас взять Мура к себе в Чистополь — *просто взять его в сыновья* — и чтобы он *учился*.

Я для него больше ничего не могу и только его гублю.

У меня в сумке 150 р. и если постараться распродать все мои вещи…

В сундучке несколько рукописных книжек стихов и пачка с оттисками прозы.

Поручаю их Вам, берегите моего дорогого Мура, он очень хрупкого здоровья. Любите как сына — *заслуживает*.

А меня простите — *не вынесла*.

М. Ц.

Не оставляйте его *никогда*. Была бы без ума счастлива, если бы он жил у вас.

Уедете — увезите с собой.

*Не* бросайте».

И теперь можно уже сказать, что *все три* версии гибели Цветаевой, о которых говорилось в начале этой главы, имеют под собой серьезные основания. Особенно убедительными они представляются в сочетании. В самом деле: предельно напряженные отношения Марины Ивановны с сыном, рвавшимся скорее уехать из Елабуги, подтверждены нынче записями в его дневнике августа 1941 года. Там же зафиксировано свидетельство мятущегося нервного состояния Цветаевой, истерзанной необходимостью принять решение, без совета и помощи, перед лицом разверзающейся (в ее сознании) бездны. Однако чрезмерным кривотолкам о состоянии Цветаевой противостоит запись, сделанная Муром 5 сентября 1941 года, в Чистополе, уже после трагического события: «Она была в полном здоровии (так в дневнике! — *И. К.*) к моменту самоубийства». Наконец, и версия Кирилла Хенкина о грубом запугивании Цветаевой со стороны оперативника НКВД приобретает дополнительную достоверность. В частности еще и потому, что, как уже говорилось, сотрудники Музея Пастернака в Чистополе обнаружили-таки в казанском архиве НКВД доносы писателей из окружения Бориса Леонидовича. То есть их вызывали и «обрабатывали» — угрозами и посулами.

Бесспорно, и без «бумажных» доказательств мы назовем НКВД прямым пособником самоубийства Марины Цветаевой.

Черное его дело началось не в Елабуге. И даже не осенью тридцать девятого года, когда арестовали Алю и Сергея Яковлевича. И не осенью тридцать седьмого, когда был убит под Лозанной Рейсс, Эфрон был убран из Франции, а Цветаеву дважды допрашивали во французской полиции. Может быть, в июне тридцать первого, когда Сергей Яковлевич отнес в советское консульство в Париже прошение о возврате на родину? Или же еще раньше: в двадцатые годы? Именно тогда в ряды русских эмигрантов были засланы первые люди в штатском, получившие задание в кабинетах ГПУ.

Но, в конце концов, не столь уж и важно, в какой именно момент паутина лжи и шантажа, затянувшая в свои сети Сергея и Ариадну Эфрон, стала смертельно опасной уже для жизни Цветаевой. Несомненным можно считать другое: нити той паутины накрепко вплетены в роковую елабужскую петлю.

Расстрелянный Гумилев, сгинувшие в лагерях Клюев и Мандельштам, поставленные к стенке Мейерхольд и Бабель…

Гордая, независимая, блистательная Марина Цветаева — в их сонме. Сонме жертв великой октябрьской социалистической.



*Памятник М. И. Цветаевой в Елабуге*

ПРИЛОЖЕНИЯ

1

Протоколы допросов М. Цветаевой в префектуре Парижа (1937 год)

Допросы М. И. Цветаевой осенью 1937 года в префектуре Парижа связаны с полицейским расследованием убийства, совершенного в Швейцарии (в окрестностях Лозанны) 4 сентября того же года.

См. об этом Т. 2. С. 493–509.

22 октября 1937 года состоялся первый допрос.

Цветаева вместе с сыном провела в парижской префектуре, по ее словам, целый день, с утра до вечера. Второй допрос состоялся 27 ноября того же года. Естественно, что протоколы допросов не отражают и малой доли произнесенного в тот день в стенах солидного учреждения. Тем не менее, документы представляют для нас безусловный интерес.

Текст допросов дается (в переводе на русский язык) по публикации Петера Хубера и Даниэля Кунци «Paris dans les années 30. Sur Serge Efron et quelques agents u NKVD» в сборнике: «Cahiers du Monde russe et sovietique», XXXII/2/, avril-juin 1991, p. 285–310.

<Текст на бланке:

Министерство внутренних дел Главное управление Национальной безопасности

Главный надзор службы криминальной полиции>

Дело Дюкоме Пьера [4] и других, обвиняемых в убийстве и сообщничестве.

Свидетельские показания г-жи Эфрон, урожденной Цветаевой Марины, 43 лет, проживающей по адресу:

65, ул. Ж.-Б. Потэн в Ванве (Сена).

22 октября 1937 года

Мы, Папэн Робер, Комиссар дорожной полиции при Главном надзоре службы криминальной полиции (Главное управление Национальной безопасности) в Париже, офицер судебной полиции, по поручению помощника Прокурора Республики

слушаем г-жу Эфрон, урожденную Цветаеву, родившуюся 31 июля 1894 года в Москве от ныне покойных Ивана и Марии Бернских,[5] литератора, проживающую в Ванве, в доме № 65 по улице Ж.-Б. Потэн, которая, приняв предварительно присягу, заявила:

Я зарабатываю на жизнь своей профессией, сотрудничаю в журналах «Русские записки» и «Современные записки», зарабатываю от шестисот до восьмисот франков в месяц. Мой муж, журналист, печатает статьи в журнале «Наш Союз», который издается «Союзом возвращения»[6] и имеет помещение на улице Де Бюси в Париже.

Насколько я знаю, муж ходил туда на работу ежедневно с самого основания Союза. Моя дочь Ариадна,[7] рожденная 5 сентября 1913 года в Москве, также работала там[8] художницей. В апреле этого года она оставила эту должность и вернулась в Россию. В настоящее время она находится в Москве и работает в редакции французского еженедельника, выходящего в этом городе, — «Revue de Moscou».

«Союз возвращения», как на это указывает само название, имеет целью помочь нашим соотечественникам, нашедшим убежище во Франции русским эмигрантам, вернуться в Россию. Никого из руководителей этой организации я не знаю, однако год или два назад я познакомилась с неким г-ном Афанасовым,[9] членом этой организации, уехавшим в Россию чуть больше года назад. Я его знала потому, что он не раз приходил к нам домой повидаться с мужем. Мой муж был офицером Белой армии, но со времени нашего приезда во Францию, в 1926 году, его взгляды изменились. Он был редактором газеты «Евразия»,[10] выходившей в Париже и издававшейся, кажется, в Кламаре или поблизости. Могу сказать, что эта газета больше не выходит. Лично я не занимаюсь политикой, но, мне кажется, уже два-три года мой муж является сторонником нынешнего русского режима.

С начала испанской революции мой муж стал пламенным поборником республиканцев, и это чувство обострилось в сентябре этого года, когда мы отдыхали в Лакано-Осеан, в Жиронде, где мы присутствовали при массовом прибытии беженцев из Сантадера.[11] С этих пор он стал выражать желание отправиться в Испанию и сражаться на стороне республиканцев. Он уехал из Ванва 11–12 октября этого года, и с тех пор я не имею о нем известий. Так что не могу вам сказать, где он находится сейчас, и не знаю, один ли он уехал или с кем-нибудь.

Я не знаю никого из знакомых мужа по имени «Боб»,[12] не знаю также Смиренского или Роллэна Марселя.[13]

В конце лета 1936 года, в августе или сентябре, я поехала на отдых с сыном Георгием (родившимся 1 февраля 1925 года в Праге) к моим соотечественникам, семье Штранге,[14] которые живут в замке Арсин в Сен-Пьер-де-Рюмийи (Верхняя Савойя).

Супруги Штранге держат по указанному адресу семейный пансион. У них есть сын Мишель 25–30 лет, который занимается литературным трудом. Он живет обычно не в Париже, а у родителей. Не знаю, часто ли он бывает здесь, и не знаю, продолжает ли он поддерживать отношения с моим мужем.

Муж почти никого не принимал дома, и не все его знакомства мне известны.

Среди многих фотографий, которые вы мне предъявляете, я узнаю только Кондратьева,[15] которого встречала у общих друзей, супругов Клепининых, которые жили в Исси-ле-Мулино, на улице Мадлен Моро, д. 8 или 10. Я встречала его года два назад, когда Кондратьев имел намерение жениться на Анне Сувчинской, работавшей гувернанткой у г-жи Клепининой.[16]

Мы с мужем были удивлены, узнав из прессы о бегстве Кондратьева в связи с делом Рейсса.

На одной из фотографий я узнаю также г-на Познякова.[17] Этот господин, по профессии фотограф, увеличил для меня несколько фотографий. Он также знаком с моим мужем, но я ничего не знаю о его политических убеждениях и что он делает сейчас.

Дело Рейсса не вызвало у нас с мужем ничего, кроме возмущения. Мы оба осуждаем любое насилие, откуда бы оно ни исходило.

Итак, как я вам сказала, я знаю только тех знакомых моего мужа, которые бывали у нас дома, и не могу вам сказать, был ли знаком Позняков с мадемуазель Штейнер [18] — или с кем-нибудь из тех, чьи фотографии мне были показаны.

[вернуться](http://www.litmir.net/br/?b=193918&p=44" \l "read_n_4_back)

4

Дюкоме Жан-Пьер (1902–1961) — французский фотограф. Завербован Н. Позняковым в 1936 году в советскую разведку. Участник оперативной группы, созданной летом 1937 года во Франции для преследования и убийства Рейсса. Был арестован французской полицией и провел 13 месяцев в тюрьме. Дал обширные показания. Освобожден из тюрьмы в связи с тем, что не были задержаны главные организаторы убийства. Партийная кличка — «Боб».

Я не могу дать никаких сведений о тех людях, которые вас интересуют.

17 июля 1937 года я с сыном уехала из Парижа в Лакано-Осеан. Мы вернулись в столицу 20 сентября. Муж приехал к нам числа 12 августа и вернулся в Париж 12 сентября 1937 года.[19]

В Лакано мы занимали виллу «Ку де Рули» на улице братьев Эстрад. Этот дом принадлежит супругам Кошен.

На отдыхе муж все время был со мной, никуда не отлучался.

Вообще же мой муж время от времени уезжал на несколько дней, но никогда мне не говорил, куда и зачем он едет. Со своей стороны, я не требовала у него объяснений, вернее, когда я спрашивала, он просто отвечал, что едет по делам. Поэтому я не могу сказать вам, где он бывал.

По прочтении подтверждено и подписано

Комиссар дорожной полиции /подпись/

М. Цветаева-Эфрон /подпись/

<На бланке, аналогичном предыдущему:>

Протокол от 1937 года 27 ноября

Дело Штейнер Рене, Шильдбах,[20] Росси[21] и других. Свидетельские показания г-жи Марины Эфрон, урожденной Цветаевой, 43 лет, проживающей по адресу: 65, улица Жан-Батист Потэн в Ванве.

Мы, Борель Робер, Главный инспектор дорожной полиции при Главном надзоре службы криминальной полиции (Главное управление Национальной безопасности), офицер судебной полиции, помощник Прокурора Республики, согласно прилагаемому ниже поручению, исходящему от г-на М. Сюбилла, судебного следователя Верховного суда Лозанны, от 16 сентября 1937 года, переданному нам для исполнения 6 числа ноября месяца старейшиной судебных следователей департамента Сена и касающемуся следствия по делу Штейнер Рене, Росси и других, обвиняемых в убийстве и сообщничестве, вызвали для допроса свидетельницу, которая, предварительно заявив, что она не состоит в родственных или дружеских отношениях с обвиняемыми и не работает на них, и присягнув говорить всю правду и ничего, кроме правды, показала следующее:

Меня уже допрашивал 22 октября этого года по поручению следственной комиссии судебный следователь из Парижа г-н Бетейль по поводу политической деятельности моего мужа. Мне нечего добавить к моим первоначальным показаниям.

Муж уехал в Испанию, чтобы служить в рядах республиканцев,[22] 11–12 октября этого года. С тех пор я не имею от него известий.

Я знаю, что перед своим отъездом в Испанию он помогал уехать туда своим соотечественникам, выразившим желание служить в рядах испанских республиканцев. Не знаю, сколько их было. Могу назвать двоих: это Хенкин Кирилл[23] и Лева.[24]

Подтверждаю, что не знала о том, что муж в 1936 году и начале 1937-го года организовал наблюдение за русскими или другими лицами, при содействии некоей Штейнер Рене, а также Смиренского Димитрия, Чистоганова[25] и Дюкоме Пьера. Мне также не известно, состоял ли муж в переписке с этими людьми.

Не берусь определить, действительно ли текст телеграммы от 22 января 1937 года, фотокопию которой вы мне предъявляете, написан рукой моего мужа.

По вашей просьбе передаю вам 9 документов (письма в конвертах и одну почтовую карточку), написанных рукой моего мужа.

Прочитано, подтверждено и подписано

Главный инспектор дорожной полиции, офицер судебной полиции /подпись/

М. Цветаева-Эфрон /подпись/

2

Марина Цветаева

<Письмо И. В. Сталину>

Текст, публикуемый ниже, предлагался вниманию читателя — в вариантах, несколько отличающихся друг от друга. Первой была публикация Льва Мнухина в парижской газете «Русская мысль» (№ 3942 от 21 августа 1992 года) под названием «Письмо Марины Цветаевой И. В. Сталину». Во второй публикации («Литературная газета», № 36/5413 от 2 сентября 1992 года) представлен был почти тот же текст, однако теперь он был атрибутирован как письмо к Лаврентию Берии. М. Фейнберг и Ю. Клюкин извлекли его из архива Министерства безопасности России. В печати завязался спор между публикаторами. Уязвимым обстоятельством первой публикации было то, что в тексте, которым располагал Л. Мнухин (источник — некий частный архив), обращение отсутствовало, оно реконструировалось лишь на основании устного свидетельства дочери Цветаевой.

Третья публикация «письма» была предложена читателю в моей книге «Гибель Марины Цветаевой» (М., 1995).

Источник данного текста — архив секретаря Союза писателей СССР К. В. Воронкова, в котором было обнаружено письмо Ариадны Сергеевны Эфрон. К письму прилагался перепечатанный на машинке текст другого письма, автором которого была

|  |
| --- |
| Марина Цветаева. Сама А. С. Эфрон обозначила адресата письма матери уверенно: «И. В. Сталин».  Сравнение данного текста с уже опубликованными свидетельствует прежде всего о том, как долго и мучительно писала и переписывала Цветаева свое послание, колеблясь, с кем-то, возможно, советуясь: кому же лучше его адресовать. Ибо и в прилагаемом тексте обращение тоже не поставлено.  На машинописи письма — два автографа Ариадны Эфрон: подпись в конце письма к К. В. Воронкову и надпись на первом листе «Письма Сталину».  Итак, дочь Цветаевой была уверена именно в таком адресате, хотя мы не знаем точно, на чем основывалась ее уверенность. Вполне реальным кажется предположение, высказанное Л. Мнухиным: Цветаева могла отправить не одно, а два почти идентичных письма, двум адресатам.  Но не спор об адресате главное в публикациях этого текста.  Бесконечно дорога нам сама возможность услышать голос Марины Цветаевой — ее колебания и сомнения, поиск интонации и аргументов — в трагический час, когда она ищет слов, способных умолить палача, остановить его руку, занесенную над головами ее родных.  Скорее всего, публикуемый ниже вариант письма — *первый вариант*, который затем, при переписывании, Марина Цветаева обильно дополняет, а кое-что и выбрасывает. Дополнения особенно показательны: они усиливают такие моменты, как перечисление заслуг отца, Ивана Владимировича Цветаева, перед русской культурой, а в характеристике Эфрона — черты его безукоризненной честности, бескорыстия и преданности идее коммунизма. Но заслуживают внимания и те фразы, от которых затем, при переписывании, Цветаева отказывается.  В нашей публикации отмечены все наиболее значимые поправки. И читатель, таким образом, сам может оценить смысл и направленность переработки, — в специальных комментариях она, на наш взгляд, не нуждается.  *И. В. Кудрова*  \* \* \*  Обращаюсь к Вам по делу арестованных — моего мужа Сергея Яковлевича Эфрона и моей дочери — Ариадны Сергеевны Эфрон.  Но прежде чем говорить о них, должна сказать Вам несколько слов о себе.  Я — писательница. В 1922 г. я выехала заграницу с советским паспортом и пробыла заграницей — в Чехии и Франции — по июнь 1939 г., т. е. 17 лет. В политической жизни эмиграции не участвовала совершенно, — жила семьей и литературной работой. Сотрудничала главным образом в журналах «Воля России» и «Современные записки», одно время печаталась в газете «Последние новости», но оттуда была удалена за то, что открыто приветствовала Маяковского в газете «Евразия». Вообще — в эмиграции была одиночкой.[26]  Причины моего возвращения на родину — страстное устремление туда всей моей семьи: мужа, Сергея Яковлевича Эфрона, дочери, Ариадны Сергеевны Эфрон (уехала первая в марте 1937 г.) и моего сына, родившегося заграницей, но с ранних лет страстно мечтавшего о Советском Союзе. Желание дать сыну родину и будущность. Желание работать у себя. И полное одиночество в эмиграции, с которой меня в последние годы уже не связывало ничто.  [вернуться](http://www.litmir.net/br/?b=193918&p=45" \l "read_n_19_back)  19  Убийство Рейсса произошло 4 сентября 1937 года, похищение генерала Е. К. Миллера — 22 сентября того же года.  [вернуться](http://www.litmir.net/br/?b=193918&p=45" \l "read_n_20_back)  20  Шильдбах (урожденная Нейгебауэр) Гертруда (1894-?) — давняя приятельница Рейсса-Порецкого, немецкая коммунистка, сотрудница советских спецслужб, работавшая в Италии. Согласилась помочь оперативной группе, выслеживавшей Рейсса. Находилась в автомобиле во время убийства. По данным П. Хубера жила затем в СССР, в 1938 году была арестована и сослана в Казахстан.  [вернуться](http://www.litmir.net/br/?b=193918&p=45" \l "read_n_21_back)  21  Росси Франсуа (он же P.-Ж. Аббиат, он же Правдин Виктор (1905–1970) — на момент участия в «лозаннской акции» был гражданином Монако. Работал на НКВД с 1929 года. Вошел в оперативную группу, преследовавшую Рейсса. Он и другой подданный Монако Шарль Мартинья (он же Борис Афанасьев, 1900-?) с самого начала полицейского расследования в Швейцарии были определены как непосредственные убийцы Рейсса. Приехал в Москву в середине сентября 1937 г. Во время Второй мировой войны — корреспондент ТАСС в Нью-Йорке. Жил в Индии, Великобритании, Мексике, США.  [вернуться](http://www.litmir.net/br/?b=193918&p=45" \l "read_n_22_back)  22  Версия отъезда Эфрона в Испанию устойчиво поддерживалась в семье Цветаевой — Эфрона и была, несомненно, придумана в советских спецслужбах.  [вернуться](http://www.litmir.net/br/?b=193918&p=45" \l "read_n_23_back)  23  Хенкин Кирилл Викторович (р. 1916) — из России вывезен родителями в 1923 году. Участник гражданской войны в Испании. Завербован в советские спецслужбы. Вернулся на родину в 1941 году. Служил в одном из управлений НКВД, затем на московском радиовещании для заграницы, позже — в редакции журнала «Проблемы мира и социализма». Покинул СССР в начале 1970-х годов. Работал на радиостанции «Свобода». Автор нескольких книг, написанных на автобиографическом материале. Живет в Мюнхене.  [вернуться](http://www.litmir.net/br/?b=193918&p=45" \l "read_n_24_back)  24  Лева — Лев Борисович Савинков (1912–1987) — сын Б. В. Савинкова, известного деятеля партии эсеров и писателя. Жил во Франции. Сражался в Испании на стороне республиканской армии. Завербован Эфроном в 1937 году. Дружил с Ариадной Эфрон. Уже уехав в СССР, А. С. Эфрон еще некоторое время с ним переписывалась.  [вернуться](http://www.litmir.net/br/?b=193918&p=45" \l "read_n_25_back)  25  Чистоганов Анатолий (1910–194?) — русский эмигрант, участник Белого движения. Член «Союза возвращения на родину». Завербован в советские спецслужбы. Участвовал в слежке за сыном Троцкого Седовым.  [вернуться](http://www.litmir.net/br/?b=193918&p=45" \l "read_n_26_back)  26  В том варианте данного письма, который теперь известен как «Письмо к Л. П. Берии» (в дальнейшем мы будем называть его ПБ), после этих слов появилась большая вставка: «(“Почему она не едет в Советскую Россию?”) В 1936 г. я всю зиму переводила для французского революционного хора (Chorale Revolutionnaire) русские революционные песни, старые и новые, между ними — Похоронный марш (“Вы жертвою пали в борьбе роковой”), а из советских — песню из “Веселых ребят”, “Полюшко — широко поле" и многие другие. Мои песни — пелись». |

45

Мне было устно передано, что никогда никаких препятствий к моему возвращению не имелось.

В 1937 г. я возобновила советское гражданство, а в июне 1939 г. получила разрешение вернуться в Советский Союз, что и осуществила — вместе с 14-летним сыном Георгием — 18 июня 1939 г.

Если нужно сказать о происхождении — я дочь заслуженного профессора Московского Университета Ивана Владимировича Цветаева, европейски-известного филолога, долголетнего директора быв. Румянцевского музея, основателя и собирателя Музея изящных Искусств — ныне Музея Изобразительных искусств им. Пушкина — 14 лет *безвозмездного любовного труда*.[27]

Моя мать — Мария Александровна Цветаева, урожденная Мейн, была выдающаяся музыкантша. Неутомимая помощница отца по делам музея, она рано умерла.

Вот — обо мне.

Теперь о моем муже, Сергее Яковлевиче *Эфроне*.

Сергей Яковлевич *Эфрон* — сын известной народоволки Елизаветы Петровны Дурново (*Лизы Дурново*) и народовольца Якова Константиновича *Эфрона*. О Лизе Дурново при мне с любовью вспоминал вернувшийся в 1917 г. П. А. Кропоткин, и поныне помнит Н. Морозов. Есть о ней и в книге Степняка «Подпольная Россия». Портрет ее находится в Кропоткинском музее.

Детство моего мужа прошло в революционном доме, среди обысков и арестов. *Все* члены семьи сидели: мать — в Шлиссельбуржской крепости, отец — в Вильне, старшие дети — Петр, Анна, Елизавета и Вера Эфрон — по разным тюрьмам. В 1905 г. Сергею Эфрону, моему будущему мужу, тогда 12-летнему, уже доверяются матерью ответственные революционные поручения. В 1908 г. Елизавета Петровна Дурново[28] эмигрирует. В 1909 г. кончает с собой в Париже, потрясенная гибелью 14-летнего сына.

В 1911 г. я знакомлюсь с Сергеем Эфроном. Нам 17 и 18 лет. Он туберкулезный. Убит трагической гибелью матери и брата. Серьезен не по летам. Я тут же решаю *никогда, что бы ни было* с ним не расставаться и в январе 1912 г. выхожу за него замуж.

В 1913 г. Сергей Эфрон поступает в московский Университет, на филологический факультет. Но начинается война и он едет братом милосердия на фронт. В Октябре 1917 г. он, только что окончив Петергофскую школу прапорщиков, сражается в рядах белых. За все добровольчество — непрерывно в строю, *никогда* не в штабе. Дважды ранен — в плечо и колено.

Все это, думаю, известно из его предыдущих анкет.[29]

Поворотным пунктом в его убеждениях была казнь комиссара — у него на глазах: — лицо, с которым этот комиссар встретил смерть. — В эту минуту я понял, что наше дело — не народное.

Но каким образом сын народоволки Лизы Дурново оказывается в рядах белой армии, а не красной? Сергей Яковлевич Эфрон это в своей жизни считал — роковой ошибкой. — Я же прибавлю, что так ошибся не только он, совсем молодой тогда человек, но многие и многие сложившиеся люди. В «Добровольчестве» он видел спасение России и правду, когда он в этом разуверился — он из него ушел, весь, целиком — и никогда уже не оглянулся в ту сторону.

По окончании добровольчества — голод в Галлиполи и в Константинополе — и в 1922 г. — переезд в Чехию, в Прагу, где поступает в Университет, кончать историко-филологический факультет.

В 1923–1924 г. затевает студенческий журнал «Своими Путями», первый во всей эмиграции печатающий советскую прозу, и основывает Студенческий демократический союз — в отличие от имеющихся монархических.[30] Переехав в 1925 г. в Париж, присоединяется к группе «евразийцев» и является одним из редакторов журнала «Версты», от которого вся эмиграция отшатывается. За «Верстами» — газета «Евразия» (в ней-то я и приветствовала Маяковского, тогда бывшего в Париже) — про которую эмигранты говорят, что это — откровенная большевистская пропаганда. Евразийцы раскалываются. Правые — и левые. Левые вскоре перестают существовать, т. к. сливаются в Союз Возвращения на родину. (Евразийцем никогда не была, как никем не была, но была свидетелем и начала, и раскола.)[31]

Когда в точности Сергей Эфрон окончательно перешел на советскую платформу и стал заниматься активной советской работой не знаю, но это должно быть известно из его предыдущей анкеты. Думаю — около 1930 г.

В свою политическую жизнь он меня не посвящал. Я только знала, что он связан с Союзом Возвращения, а потом — с Испанией.[32] Но что я достоверно знала и знаю — это о его страстном и неизменном служении Советскому Союзу. Не зная подробностей его дел, знаю жизнь души его день за днем, все это совершалось у меня на глазах, утверждаю как свидетель: этот человек Советский Союз и идею коммунизма *любил больше жизни*.

(О качестве же и количестве его деятельности могу привести возглас французского следователя, меня после его отъезда в Советский Союз допрашивавшего:

— М. Efron menait une activité soviétique foudroyante!

(Г-н Эфрон, развил потрясающую советскую деятельность).[33]

10-го октября 1937 г. Сергей Эфрон спешно уехал в Советский Союз. А 22-го ко мне явились с обыском и увезли меня и 12-летнего сына в Префектуру, где нас продержали целый день. Следователю я говорила все, что знала — а именно: что это самый бескорыстный и благородный человек на свете, что он страстно любит свою родину, что работать для республиканской Испании — не преступление, что знаю я его — 1911–1937 — двадцать шесть лет — и что больше не знаю ничего.

Началась газетная травля (русских эмигрантских газет). О нем писали, что он чекист, что он замешан в деле Рейсса, что его отъезд — бегство и т. д. Через некоторое время последовал второй вызов в префектуру. Мне предъявили копии телеграмм, в которых я *не узнала* его почерка. — «Да не бойтесь, сказал следователь, это вовсе не по делу Рейсса, это по делу S.» — и действительно показал мне папку с надписью. Я опять сказала, что я никакого «S.», ни Рейсса не знаю — и меня отпустили и больше не трогали.[34]

С октября 1937 по июнь 1939 я переписывалась с Сергеем Эфроном дипломатической «оказией». Письма его из Советского Союза были совершенно счастливые. Жаль, что они не сохранились, но я должна была уничтожать их тотчас по прочтении; — ему недоставало только одного — меня и сына.

Когда я, 19-го июня 1939 г. после почти двух лет разлуки, вошла на дачу в Болшево и его увидела — я увидела тяжело больного человека. Тяжелая сердечная болезнь, обнаружившаяся через полгода по приезде и вегетативный невроз. Я узнала, что все эти два года он почти сплошь проболел — пролежал. Но с нашим приездом он ожил, припадки стали реже, он мечтал о работе, без которой изныл. Он стал уже сговариваться с кем-то из своего начальства о работе, стал ездить в город…

И — 27 августа — арест дочери.

Теперь о дочери. Дочь моя Ариадна Сергеевна Эфрон первая из всех нас поехала в Советский Союз, а именно — 15 марта 1937 г. До этого год была в Союзе Возвращения. Она очень талантливая художница и писательница. И — абсолютно лояльный человек. (Мы все — лояльные, это наша — двух семей — Цветаевых и Эфронов — отличительная семейная черта).[35] В Москве она работала во французском журнале Ревю де Моску, ее работой были очень довольны. Писала и иллюстрировала. Советский Союз полюбила от всей души и никогда ни на какие бытовые невзгоды не жаловалась.

А после дочери арестовали — 10-го октября 1939 г. и моего мужа; совершенно больного и изведенного ее бедой.

7-го ноября были арестованы на той же даче семейство Львовых, наших сожителей, и мы с сыном оказались совсем одни, в опечатанной даче, без дров, в страшной тоске.

[вернуться](http://www.litmir.net/br/?b=193918&p=46" \l "read_n_27_back)

27

Вставка в ПБ: «Замысел Музея — его замысел, и весь труд по созданию Музея: изысканию средств, собиранию оригинальных коллекций (между ними — одна из лучших в мире коллекций египетской живописи, добытая отцом у коллекционера Мосолова), выбору и заказу слепков и всему музейному оборудованию — труд моего отца, безвозмездный и любовный труд 14-ти последних лет его жизни. Одно из ранних моих воспоминаний: отец с матерью едут на Урал выбирать мрамор для Музея. Помню привезенные ими мраморные образцы. От казенной квартиры, полагавшейся после открытия Музея отцу как директору, он отказался и сделал из нее 4 квартиры для мелких служащих. Хоронила его вся Москва — все бесчисленные его слушатели и слушательницы по Университету, Высшим Женским Курсам и Консерватории, и служащие его обоих Музеев (он 25 лет был директором Румянцевского Музея)».

[вернуться](http://www.litmir.net/br/?b=193918&p=46" \l "read_n_28_back)

28

В ПБ здесь вставлено: «которой грозит пожизненная крепость».

[вернуться](http://www.litmir.net/br/?b=193918&p=46" \l "read_n_29_back)

29

В ПБ здесь добавлено: «а вот что, может быть, не известно: он не только не расстрелял ни одного пленного, а спасал от расстрела всех кого мог, — забирал в свою пулеметную команду».

[вернуться](http://www.litmir.net/br/?b=193918&p=46" \l "read_n_30_back)

30

В ПБ вставка: «В своем журнале первый во всей эмиграции перепечатывает советскую прозу (1924 г.). С этого часа его «полевение» идет неуклонно».

[вернуться](http://www.litmir.net/br/?b=193918&p=46" \l "read_n_31_back)

31

Последнюю фразу из ПБ Цветаева убирает.

[вернуться](http://www.litmir.net/br/?b=193918&p=46" \l "read_n_32_back)

32

Данный абзац из ПБ убран. Последующий абзац переписан целиком. Новая его редакция очень информативна: «Но что я достоверно знала и знаю — это о его страстной и неизменной мечте о Советском Союзе и о страстном служении ему. Как он радовался, читая в газетах об очередном советском достижении, от малейшего экономического успеха — как сиял! (“Теперь *у нас* есть то-то… Скоро *у нас* будет то-то и то-то…”) Есть у меня важный свидетель — сын, росший под такие возгласы и с пяти лет другого не слыхавший. Больной человек (туберкулез, болезнь печени), он уходил с раннего утра и возвращался поздно вечером. Человек — на глазах — горел. Бытовые условия — холод, неустроенность квартиры — для него не существовали. Темы, кроме Советского Союза, не было никакой. Не зная подробности его дел, знаю жизнь его души день за днем, все это совершилось у меня на глазах, — целое перерождение человека».

[вернуться](http://www.litmir.net/br/?b=193918&p=46" \l "read_n_33_back)

33

Далее в ПБ: «Следователь говорил над папкой его дела и знал эти дела лучше, чем я (я знала только о Союзе Возвращения и об Испании). Но что я знала и знаю — это о беззаветности его преданности. Не целиком этот человек, по своей природе, отдаться не мог».

[вернуться](http://www.litmir.net/br/?b=193918&p=46" \l "read_n_34_back)

34

Весь этот абзац в ПБ Цветаевой выпушен. Можно предположить, что «Дело S.», папку с которым показывают Цветаевой на допросе, было связано с преследованием сына Троцкого Седова и пропажей его архива в Париже в 1936 году.

|  |
| --- |
| Первую передачу от меня приняли: дочери — 7-го декабря, т. е. 3 месяца с лишним после ее ареста, мужу — 8-го декабря, 2 мес. спустя.  Я не знаю, в чем обвиняют моего мужа, но знаю, что ни на какое предательство, двурушничество и вероломство он не способен. Я знаю его: 1911–1939 г. — без малого 30 лет, но то, что знаю о нем, знала уже с первого дня: что это человек величайшей чистоты, жертвенности и ответственности. То же о нем скажут и друзья и враги. Даже в эмиграции никто не обвинял его в подкупности.[36]  Кончаю призывом о справедливости. Человек, не щадя своего живота, служил своей родине и идее коммунизма. Арестовывают его ближайшего помощника — дочь — и потом — его. Арестовывают — безвинно.[37]  Это — тяжелый больной, не знаю, сколько осталось ему века. Ужасно будет, если он умрет не оправданный.[38]  3  На полях этой книги  Работа в архиве КГБ предоставила автору настоящей книги сюжеты и сведения, которые не уложились в рамки повествования. Иные из них мне показались интересными лишь для людей дотошного склада, другие — для специалистов-историков. И при саморедактуре текста я поначалу хотела совсем исключить все то, что читатель найдет ниже. А потом решила: из основного текста исключу, а «на любителя» оставлю. Ибо почти каждое из помещенных далее дополнений основано на фактах, явно не общедоступных. Они могут пригодиться.  **1) К т. 2, с. 311**  Когда Сергей Яковлевич в 1931 году подал через советское полпредство в Париже заявление во ВЦИК с просьбой разрешить ему возвращение на родину, у этого шага не было никакой скрытой подоплеки. Эфрон, как и многие из его ближайшего окружения, постепенно пришел к полной переоценке случившегося в России. Он стал искренним энтузиастом «социалистического строительства» и желал участвовать в нем непосредственно, а не издали. Его способность загораться очередной идеей и служить ей столь же бескорыстно, сколь и слепо, была в полной мере использована особыми чиновниками советского полпредства, которые распоряжались судьбами русских эмигрантов несравненно с большей властью, чем ВЦИК.  Просьба о советском гражданстве вовсе не была резким поворотом на сто восемьдесят градусов, как любят порой утверждать малоосведомленные авторы. То была как раз постепенная и даже чуть ли не естественная эволюция людей, которые не родились ни политическими мыслителями, ни даже политическими борцами. Просто совестливые и неравнодушные люди в 1917–1918 годах не могли примириться с гибельным в их глазах развитием событий на родине — и потому оказались в рядах Белой армии, сражавшейся с большевиками. Но позже эволюция их взглядов прошла через угасший ореол Добровольчества, разъеденного корыстью и злобой. (О чем Эфрон писал в статье «О Добровольчестве», опубликованной в 1924 году журналом «Современные записки» — Париж, № 21.) Далее эволюция прошла через пересмотр верований «отцов» (старой революционно настроенной интеллигенции), через поиски *своего* пути к реформированию общества.  Существеннейшим этапом на этом пути стало изменение оценки событий 1917 года: слепое неприятие этих событий сменилось отношением к революции как к социальной стихии, с которой необходимо считаться как с реальностью. Дальше — больше: терпимость к лозунгам Октября, наивное доверие к заявленным планам хозяйственных преобразований, обольщение нэпом… Тут-то и подоспели льстивые ловкие люди, прикрытые невинной службой в парижском торгпредстве и полпредстве…  Нет, не крутой и неоправданный поворот, а скорее мощно затягивающая воронка «чары», как назвала бы это Цветаева. Обольщение «ликом добра» — по цветаевскому определению, опаснейшим из обольщений — вот на что это похоже…  **2) К т. 3, с. 131**  О слежке П. Н. Толстого за Гаяной сообщили прочитанные мной протоколы допросов; вряд ли это было известно ранее.  Но еще в 1935 году кто-то из советских писателей, приехавших в Париж на Антифашистский конгресс деятелей культуры, рассказал Эфрону другую новость. А именно: что П. Н. Толстой настрочил донос и на собственного знаменитого родственника, гостеприимством которого он пользовался. Он не рассчитал, однако, что у Алексея Николаевича Толстого оказались преданные ему люди в ленинградском НКВД. Они не только не дали хода бумаге, но тут же сообщили самому писателю о ретивости его постояльца.  Вернувшись на родину, Сергей Яковлевич решительно избегал встреч с П. Н. Толстым и предупреждал других, общавшихся с Павлом Николаевичем, о необходимости соблюдать с ним сугубую осторожность.  **3) К т. 3, с. 135**  Тема связи с масонскими организациями (при этом следователь неизменно пишет «массоны») мельком возникала еще на первом допросе Эфрона. Он высказался тогда вполне определенно: да, такая связь у него была — *по прямому указанию органов НКВД* в Париже, «ибо я был их секретным сотрудником». Это признание соседствовало с другим, уже упоминавшимся: П. С. Арапов вступил в контакт с иностранными разведками также по заданию ГПУ. Однако Клепинин на этой очной ставке дает следствию новый ход: связь с русскими масонами в Париже как раз и означала прямую службу Эфрона во французской разведке! Утверждение сочинено, несомненно, по подсказке самих следователей; не мытьем, так катаньем им необходимо обвинить Эфрона в шпионаже.  В протоколах допросов Клепинина содержатся и другие, на этот раз достоверные, сведения о контактах Эфрона с одной из масонских лож. Сергей Яковлевич, утверждает Клепинин, прочел там доклад (или даже доклады) и в конце концов был «посвящен в высшую ступень». Официальная справка в следственном деле Эфрона назвала конкретную масонскую ложу, в которую вошел Сергей Яковлевич, — «Гамаюн».  **4) К т. 3, с. 151**  Отметим, что Нине Клепининой разрешили приехать в Россию с сыновьями почти сразу вслед за мужем, а Цветаеву не выпускали из Франции еще полтора года. До опубликования переписки Цветаевой с Ариадной Берг [39] еще не было так очевидно, что вовсе не сама Марина Ивановна решала в эти месяцы — возвращаться ли ей с сыном в Россию — и когда именно возвращаться. Из переписки же стало ясно: судьба Цветаевой с момента побега мужа ей самой уже не принадлежала. Документы на выезд она подала в конце 1937 года, спустя примерно месяц после исчезновения Сергея Яковлевича. И с лета 1938 года стала ждать отъезда буквально со дня на день. Однако ее почему-то держали во Франции. Потому ли, что просто забыли о ней — или выжидали «нужного» часа?  В самом деле, удобнее было держать ее с сыном во Франции как бы в качестве заложницы, — для уверенности в поведении Эфрона на родине. Оступится — не разрешим приехать жене и сыну. И еще что-нибудь с ней, семьей, может случиться. Эфрону ли об этом не знать…  Однако к лету 1939 года арест самого Сергея Яковлевича был уже предрешен. И Цветаева с сыном понадобились уже в Москве — для той же цели. Дабы их арестом можно было шантажировать Эфрона на допросах, — известно, что это нередко применялось в тогдашней практике НКВД.  Впрочем, зная российские особенности, можно объяснить длительную отсрочку выезда Цветаевой из Франции и попроще. Так, как предлагает это объяснить в своей книге Мария Белкина. Подсунули, дескать, в начале лета 1939 года забытую бумажку некоему делопроизводителю — тот отнес кому надо… И возвращение великого поэта на родину разрешено. Что ж, и такое возможно…  **5) К т. 3, с. 153**  Эмилию Литауэр допрашивают о Цветаевой 19 февраля 1940 года — и тоже других тем в этот день не возникает. Следователь спрашивает:  — С какими антисоветскими организациями была связана Цветаева во Франции? С кем из лиц, враждебно настроенных к СССР, она встречалась?  [вернуться](http://www.litmir.net/br/?b=193918&p=47" \l "read_n_36_back)  36  В ПБ фраза продолжена: «…и коммунизм его объясняли “слепым энтузиазмом”. Даже сыщики, производившие у нас обыск, изумленные бедностью нашего жилища и жесткостью его кровати. “Как, на этой кровати спал г-н Эфрон?” — говорили о нем с каким-то почтением, а следователь — так тот просто сказал мне: “Г-н Эфрон был энтузиаст, но ведь энтузиасты тоже могут ошибаться…”  А ошибаться здесь, в Советском Союзе, он не мог, потому что все 2 года своего пребывания болел и нигде не бывал».  [вернуться](http://www.litmir.net/br/?b=193918&p=47" \l "read_n_37_back)  37  Последние две фразы в ПБ убраны.  [вернуться](http://www.litmir.net/br/?b=193918&p=47" \l "read_n_38_back)  38  В ПБ далее дописана другая концовка: «Если это донос, т. е. недобросовестно и злонамеренно подобранные материалы — проверьте доносчика. Если же это ошибка — *умоляю*, исправьте пока не поздно».  [вернуться](http://www.litmir.net/br/?b=193918&p=47" \l "read_n_39_back)  39  Письма Марины Цветаевой к Ариадне Берг (1934–1939). Paris: YMKA-Press, 1990. |

47

Литауэр называет в ответ журнал «Современные записки», газету «Евразия», эсеров Бунакова-Фондаминского и Лебедева, «агентов иностранных разведок» Святополк-Мирского, Трейл, Клепининых. Антисоветские настроения Цветаевой, — говорит Эмилия, — выразились в ее стихах о Белой армии и царской семье. По приезде в Болшево, — записывает следователь, — «в своем кругу она не стеснялась заявлять, что приехала сюда, как в тюрьму, и что никакое творчество для нее тут невозможно».

**6) К т. 3, с. 165**

Дочь бывшего военного министра Временного правительства А. И. Гучкова, она рано вышла замуж за П. П. Сувчинского, одного из виднейших в русской эмиграции двадцатых годов «евразийцев». К концу 1925 года или к самому началу 1926-го относится знакомство супругов Сувчинских с Цветаевой. В письме от 24 ноября 1979 года к автору этой книги Вера Александровна (во втором браке — Трейл) так вспоминала об этом знакомстве: «Познакомились мы — да, почти сразу после их (Цветаевой и Эфрона. — *И. К.*) приезда в Париж. <…> Виделись часто. Мне было лет 19–20. Стихи ее я открыла, сама для себя, раньше и была потрясена. Потом прочла у Мирского — “распущенная москвичка” — и когда он приехал из Лондона (он проводил каникулы во Франции), я устроила скандал: “Ах ты, великий критик! Ты ровно ничего не понимаешь! Она гениальный поэт”. Он покорно перечел и сказал, что, пожалуй, я права. А когда она появилась в Meudon (раньше она жила у каких-то Черновых, не помню где) — мы все отправились знакомиться — Петр (мой муж), Дим (Мирский) и я».

«Писала она мне редко, — вспоминает Трейл в том же письме, — мы слишком часто виделись — эти 3–4 письма у меня… сгорели. Помню фразу (лестное запоминается!) — “Большому кораблю большое плаванье”. Т. е. она считала меня очень умной. А я знала, что она необычайный поэт… Не вижу, чем она меньше, чем, например, Пастернак…»

В одном из уцелевших от пожара писем Цветаевой к В. А. — щедрое признание несомненных, в глазах Марины Ивановны, достоинств молодой Сувчинской: ума, гордости и даже «душевного целомудрия». Однако спустя несколько лет отношение Цветаевой к В. А. решительно изменится: среди причин главной была та, что В. А. втягивала Ариадну Эфрон в политические страсти, способствуя тем самым углублявшемуся отчуждению матери и дочери.

Уже после развода В. А. с Сувчинским Эфрон вовлекает ее в работу советской разведки, с которой он сам себя связал с начала тридцатых годов. В этой деятельности В. А. находит выход присущей ей активности, энергии и авантюризму, унаследованным от отца. А также способности очаровывать людей самого разного круга.

Летом 1936 года она оказывается в Москве, в гостинице «Москва» и постоянно встречается в кафе «Националь» с переехавшими из Парижа прежними своими друзьями и единомышленниками: с Ариадной Эфрон, Эмилией Литауэр, Николаем Афанасовым. Она успела встретиться и с Д. П. Святополк-Мирским (приехавшим в СССР раньше многих других) — до его ареста. Из протоколов допросов Эмилии Литауэр явственно вырисовывается властная, как бы руководящая, позиция Веры Александровны; ее советам, более похожим

|  |
| --- |
| на распоряжения, беспрекословно следует, видимо, не только Эмилия.  «Зачем она приезжала в Москву?» — спросят на одном из допросов Ариадну Эфрон. «По вызову начальства, для выяснения ее дальнейшей работы в Иностранном отделе НКВД», — записан ответ Ариадны. Последняя охотно проявляет в таких вопросах осведомленность, предъявляя ее как бы в виде своего рода «охранной грамоты». Грамота, однако, не срабатывала, ибо допрашивали Ариадну уже осенью 1939 года, через два года после отъезда В. А. обратно в Париж. А это значит, что Ариадна имела дело со следователями бериевского, а не ежовского набора. Для них Ежов, покровительствовавший, сколько можно судить, В. А. и другим «кадрам», завербованным в среде русской эмиграции, к этому времени уже «враг народа».  Из допросов выясняется история второго замужества В. А.: на совместном совещании в Москве Мирского, Литауэр и В. А. было решено (и это решение поддержал из Парижа Эфрон), что для служебных задач В. А. целесообразно выйти замуж за Роберта Трейла — английского журналиста, шотландца по происхождению, который в это время работал в Москве. Замысел был осуществлен, и с этого момента паспорт иностранной подданной облегчал В. А. роль связной между Москвой и Францией.  Московское начальство собиралось отправить В. А. — после ее нового замужества — на дальнейшую работу в Великобританию. Но неожиданно натолкнулось на энергичное сопротивление норовистой подчиненной. Добившись приема у Ежова, В. А. сумела доказать, что ее работа во Франции принесет НКВД несравненно больше пользы, так как там у нее прекрасно налажены многочисленные связи.  В СССР В. А. прожила несколько больше года (с лета 1936-го по сентябрь 1937 года), хотя нельзя сказать с уверенностью, не выезжала ли она за пределы страны в этот период. Но за пределы Москвы она достоверно выезжала, ибо регулярно посещала подмосковную школу разведчиков НКВД. В книге «Охотник вверх ногами» Кирилл Хенкин утверждает, что в этой знаменитой школе В. А. не училась (как я думала поначалу, прочитав об этом впервые в протоколе одного из допросов), а… преподавала.  О Сергее Яковлевиче Эфроне Трейл писала мне в 1979 году следующее: «Я не знаю, знаете ли Вы и хотите ли знать о “деле Рейсса”. Считается, что С. был в этом замешан, а я уверена, что нет. — Марина, конечно, ничего не знала и политикой вообще не интересовалась.  Я вернулась из Москвы около 15-го — м. б. 10 сент. 1937. Сережа приходил почти каждый день. Сказал, что он влюблен в барышню 24–25-ти лет и не знает, что делать. Я сказала: “Я знаю, что делать”, но он, вздохнув, ответил: “Нет. Я не могу бросить Марину”.  20 сентября родилась моя дочь. И дня через 3–4 появился в больнице С.: “Меня запутали в грязное дело, я ни при чем, но должен уехать”».  Обратим внимание, что в данном письме подтверждено: во Францию Трейл приезжает «около 15 сентября», в действительности же, как мы увидим ниже, дней на десять раньше.  Протоколы допросов Сергея и Ариадны Эфрон, Клепининых, Литауэр и Афанасова недвусмысленно проясняют характер деятельности Веры Александровны. И теперь, когда мы многое уже об этом знаем, иначе, чем раньше, читаются личные письма В. А., обнаруживающиеся у разных ее корреспондентов.  В книге «Агенты Москвы», изобилующей — увы! — огромным количеством фактических ошибок (Brossat A. Agents de Moscou. Le Stalinisme et son ombre. Paris: Gallimard, 1989), французский журналист Аллен Бросса рассказал, в частности, о содержимом чемодана, обнаруженного в вещах русского эмигранта К. Б. Родзевича, умершего в одном из парижских «старческих домов».  Среди прочего там оказалась пачка писем его давней возлюбленной и сподвижницы — В. А. Трейл. Естественно, что друг с другом они вполне откровенны, — и можно только пожалеть, что им нет нужды пересказывать друг другу известные обоим обстоятельства. Тем не менее, эпистолярные тексты, приведенные в книге Аллена Бросса, внятно указывают на участие того и другой в работе советской разведки.  Но вот свежая находка. Это письма В. А. Трейл к брату Эмилии Литауэр Александру (он умер в Париже в конце 1990-х годов). С ним в тридцатые годы В. А. была близка и дружна. Приведу два отрывка из ее письма от 27 сентября 1984 года:  «…Ах да! Почему я считаю, что Ежов спас мне жизнь.  Потому что я провела с ним 4 часа — от полуночи до 4-х утра — пошла уговаривать прекратить террор — и вручила ему список своих арестованных друзей — 20 человек. Он сказал, что потребует их досье и чтобы я вернулась дня через 3–4 их с ним обсудить. Но 4 дня я не прождала.  На следующую же полночь (чекисты тогда только просыпались) — телефон: “Говорит Кремль. Поручение от тов. комиссара: — “Уезжайте немедленно”. Я на секунду испугалась — (т. е. сердце успело чуть-чуть упасть — что за “немедленно”?), но быстро спохватилась и рассердилась: «Я не могу уехать посреди ночи». Дядя — глубокий бас — ответил раздраженно: “Не посреди ночи, а с первым поездом. Кажется в 9.30. А если не попадете — есть вечерний”. |

48

|  |
| --- |
| Разоблаченная морока - i_055.jpg  *Вера Трейл*  Разоблаченная морока - i_056.jpg  *Автограф письма*  Я продолжала сердиться и торговаться: “Но он же обещал показать мне… ммм… некоторые бумаги”. — “Да, — басит чекист, — Вы не дали мне договорить. Бумаги будут в нашем парижском консульстве. После родов — желаем Вам всего наилучшего — Вы туда зайдите”. Уехала я не на следующий день, а кажется через следующий. Маша родилась…» (В письме не сохранилась последняя страница.)  Еще один отрывок, из письма тому же адресату:  «Я не помню, чтобы я тебя политически совратила. Было бы совестно, если бы я была такой наивной дурой. Но люди умнее или во всяком случае ученее меня — тоже попались и поплатились жизнью. Миля (Эмилия Литауэр. — *И. К.*) — Мирский.  Как я выжила там в 1937 г., не совсем понятно, но была догадка, что в меня влюбился сам Николай Иванович Ежов. Что он спас жизнь мне — это факт, но влюбился — мне кажется нет. Вряд ли. Он был мне вроде как до талии, а я была на 9-м месяце беременности. Где тут любовь?» Последняя фраза письма написана под рисунком, на котором В. А. изобразила рядом себя и Ежова.  Александр Литауэр — я с ним неоднократно встречалась в Париже и в Петербурге, продолжал до последних дней верить версии о влюбленном Ежове. Что до меня, то я истолковала бы эпизод, рассказанный в письме, иначе. Мне кажется, что народный комиссар НКВД нашел хитрый способ избежать ответа строптивой В. А. на ее требовательный «запрос» об арестованных друзьях. Конечно, естественнее было бы просто отдать распоряжение об аресте самой Трейл, и с этой точки зрения Николай Иванович выглядит благодетелем. Но даже такое «благодеяние» сомнительно. Ибо, скорее всего, В. А. пришла в тот раз к Ежову не ради своих друзей, а по вызову. Ежов, очевидно, готовил Трейл как эмиссара, дабы срочно передать в Париж деньги и распоряжения. И в связи с ее настоятельной и крайне неудобной просьбой, касающейся арестованных друзей, разве что ускорил ее отъезд.  В самом деле: сопоставим числа. Разговор Трейл и Ежова состоялся, скорее всего, в самом начале сентября. Я делаю это предположение, исходя из сообщения швейцарского историка П. Хубера, работавшего в архивах Гуверовского института. Опираясь на документы полицейских архивов, он рассказал и о некоторых обстоятельствах возвращения Трейл во Францию. В частности, о том, что вскоре после ее приезда в Париж к ней на квартиру явилась полиция с обыском и неожиданно застала там К. Б. Родзевича, который спешно жег какие-то бумаги. В полицейских документах считается установленным, что В. А. привезла из Москвы чек на большую сумму для передачи матери Виктора Правдина (он же Франсуа Росси, один из убийц Игнатия Рейсса).  На допросе во французской полиции Трейл убедительно доказала собственное алиби по отношению к данному убийству. Она предъявила паспорт, где таможенная служба зафиксировала, что в день, когда Рейсс был убит под Лозанной, — то есть 4 сентября — Трейл пересекала территорию Польши.  Но если 4 сентября В. А. проезжает Польшу, то из Москвы она выехала 2–3 сентября. А в эти дни Ежов уже знает, что специальная опергруппа, полтора месяца разыскивавшая «невозвращенца» Рейсса, обнаружила его в Швейцарии.  До убийства оставались считанные дни. Можно было не дожидаться окончательного сообщения и отправить подготовленного эмиссара несколько раньше. В частности, и для того, чтобы не разочаровать его неутешительными известиями о друзьях…  К концу жизни Трейл утратила иллюзии относительно социалистической родины и считала себя, как мы прочли в одном из приведенных выше писем, одной из жертв, «попавшихся на обман». Тем не менее в воспоминаниях, надиктованных ею на магнитофон в последние годы жизни и расшифрованных проф. Дж. Смитом (Оксфорд, Великобритания), упоминаний о службе в НКВД не имеется.  В. А. Трейл умерла в апреле 1987 года в возрасте восьмидесяти лет в Кембридже (Великобритания).  Мне удалось с ней однажды недолго побеседовать во время ее приезда в Москву, — кажется, это было в 1980 году. Встретиться помог А. В. Эйснер, некогда близкий друг Веры Александровны. Трейл была энергична, иронична и жизнерадостна, несмотря на возраст и недавно сломанную ногу. Увы, я знала тогда слишком мало, чтобы задать нужные вопросы. Но вряд ли она стала бы со мной откровенничать. Хотя внешне держалась вполне доброжелательно.  **7) К т. 3, с. 167**  Дело Ариадны Эфрон было выделено в особое производство (после встречи подследственной 14 марта 1940 года с прокурором Антоновым). Из текста постановления, составленного следствием, получается, что сделано это за неустановленностью шпионских связей А. С. Эфрон. Однако в обвинительном заключении повторено как ни в чем не бывало: «являлась шпионкой французской разведки и присутствовала на антисоветских сборищах группы лиц… Считая доказанным, направить Прокурору СССР для передачи по подсудности». Дата обвинительного заключения — 16 мая 1940 года.  Особое Совещание, на котором обвиняемые никогда не присутствовали, решило судьбу Ариадны 2 июля 1940 года: «за шпионскую деятельность заключить в исправительно-трудовой лагерь сроком на 8 лет…» Однако Ариадну продержат во внутренней тюрьме до начала следующего года. Ей дадут ознакомиться с приговором только 24 декабря! Через полгода после его вынесения. Было ли это распространенной практикой тогда — я не знаю.  Основные даты жизни и творчества Марины Цветаевой  **1892, 26 сентября**  В семье профессора московского университета Ивана Владимировича Цветаева и его жены Марии Александровны (урожденной Мейн) родилась дочь Марина.  **1902, осень**  Отъезд вместе с матерью и младшей сестрой Анастасией в Италию (Нерви под Генуей).  **1903, весна — 1904, лето**  Сестры Цветаевы в пансионе сестер Лаказ в Лозанне (Швейцария).  **1904, осень — 1905, лето**  Сестры Цветаевы в пансионе сестер Бринк во Фрейбурге (Шварцвальд, Германия).  **1905, осень**  Возвращение в Россию: Ялта.  **1906**  **июнь** — Приезд семьи в Тарусу.  **июль** — Смерть матери.  **1908**  Знакомство с Л. Л. Кобылинским (Эллисом).  **1910, ноябрь**  Выход первой поэтической книги «Вечерний альбом». Знакомство с М. А. Волошиным.  **1911**  **май** — Встреча с С. Я. Эфроном в Коктебеле.  **декабрь** — Первое публичное выступление Цветаевой в «Обществе свободной эстетики» (Москва).  **1912**  **27 января** — Венчание Марины Цветаевой и Сергея Эфрона.  **февраль** — Выход второй книги Цветаевой «Волшебный фонарь».  **5 (18) августа** — Рождение дочери Ариадны.  **1913**  Выход сборника Цветаевой «Из двух книг».  **30 августа** — Смерть И. В. Цветаева.  **1913, осень — 1914, лето**  Семья живет в Феодосии.  **1913–1915**  Написаны «Юношеские стихи» (книга не была издана).  **1914**  Переписка с В. В. Розановым.  **осень** — Переезд на московскую квартиру в Борисоглебский переулок, дом 6.  Знакомство с С. Я. Парнок.  **1915–1916, зима**  Поездка в Петербург. Публикации стихотворений Цветаевой и перевода романа А. де Ноай «Новые упования» в журнале «Северные записки». Знакомство с Михаилом Кузминым, дружба с Осипом Мандельштамом.  **1915, март — июль**  С. Я. Эфрон служит братом милосердия в санитарном поезде.  **1916**  Созданы стихи, включенные позднее в сборник «Версты».  Знакомство с Н. А. Плуцер-Сарна.  **1917**  **13 апреля** — Рождение второй дочери Ирины.  **октябрь** — Участие Эфрона в боях с большевиками за Кремль. |

49

**с декабря** — Эфрон в Добровольческой армии.

**1918, ноябрь — 1919, апрель**

Служба Марины Цветаевой в Народном комиссариате по делам национальностей.

Сближение с московскими театральными студиями. Написаны шесть пьес.

**1920**

**февраль** — Смерть младшей дочери Ирины в кунцевском приюте.

**май** — Цветаева присутствует на двух выступлениях Александра Блока в Москве.

**1921**

Дружба с князем С. М. Волконским.

**июль** — Известие от мужа из Константинополя.

Хлопоты о разрешении на выезд из России.

**1922**

**11 мая** — Отъезд из России.

**15 мая** — Прибытие в Берлин.

Встреча с Андреем Белым, А. Вишняком, М. Слонимом, Р. Гулем.

Первое письмо от Бориса Пастернака.

**7 июня** — Встреча с мужем в Берлине.

Написано эссе «Световой ливень» о поэзии Пастернака.

**31 июля** — Отъезд в Чехословакию.

**1922, осень — 1923, осень**

Семья живет в предместьях Праги — Дольних и Горних Мокропсах.

Завершена поэма «Молодец».

Готовится к изданию книга прозы «Земные приметы» (издание не состоялось).

В Берлине вышли из печати поэтические книги Цветаевой «Разлука», «Стихи к Блоку», «Психея: романтика», поэма «Царь-девица», «Ремесло».

**1923**

**лето** — Переписка с критиком А. Бахрахом.

**осень** — Переезд семьи в Прагу. Роман с К. Б. Родзевичем.

**1924**

Создание «Поэмы Горы» и «Поэмы Конца».

**1925**

**1 февраля** — Рождение сына Георгия.

Создание поэмы «Крысолов».

Дружба с А. И. Андреевой.

**1 ноября** — М. Цветаева приезжает в Париж с сыном и дочерью.

**1926**

**6 февраля** — Триумфальный поэтический вечер Марины Цветаевой в Париже.

Знакомство с П. и В. Сувчинскими, Д. Святополк-Мирским и С. Андрониковой.

Поездка в Лондон.

Написаны статьи «Поэт о критике» и статья о книге О. Мандельштама «Шум времени».

**лето** — Переписка с Р. М. Рильке.

Написаны поэмы «С моря» и «Попытка комнаты».

**1927**

Создание поэмы «Новогоднее», прозы «Твоя смерть», «Поэмы Воздуха», трагедии «Федра».

**сентябрь** — Анастасия Цветаева в гостях у сестры.

**1927–1932**

Семья живет в предместьях Парижа: Бельвю — Медоне.

**1928**

**март** — Выход из печати последней поэтической книги «После России».

Начало работы над «Поэмой о царской семье». Активная «евразийская» деятельность Эфрона.

**1928**

Дружба с поэтом Николаем Гронским.

**ноябрь** — Газета «Евразия» опубликовала «Приветствие Марины Цветаевой Владимиру Маяковскому».

**1929**

**октябрь** — Поездка в Бельгию.

Написан очерк «Наталья Гончарова».

**1931**

Дружба с Е. Извольской.

Эфрон подает прошение о возвращении на родину. Написаны статьи «О новой русской детской книге», «Поэт и время», «История одного посвящения».

**1930, ноябрь**

Начало переписки с Ю. Иваском.

**1931, март**

Переезд в Кламар.

Создание прозы «Дом у Старого Пимена».

**1933**

Написана статья «Эпос и лирика современной России: Борис Пастернак и Владимир Маяковский».

**1934**

Создание прозы «Живое о живом».

**ноябрь** — Начало переписки с Ариадной Берг.

**1935**

**июнь** — Встреча в Париже с Борисом Пастернаком, приехавшим на Международный антифашистский конгресс деятелей культуры.

**лето** — Фавьер (Лазурный берег). Знакомство с Е. Малер, Б. Унбегауном.

**1936**

**май** — Поездка в Бельгию. Знакомство с З. Шаховской.

Окончена «Поэма о царской семье». Создана поэма «Автобус».

**лето** — Савойя. Переписка с поэтом А. Штейгером.

**осень** — Работа над прозой «Мой Пушкин».

**1937**

**март** — Отъезд Ариадны Эфрон в СССР.

**июнь** — Создано эссе «Пушкин и Пугачев».

**июль-август** — Создана первая часть «Повести о Сонечке».

**27 сентября** — «Повесть о Сонечке» закончена.

**10 октября** — Отъезд Эфрона из Франции в СССР в связи с «делом Рейсса».

**октябрь-ноябрь** — Допросы М. Цветаевой в парижской префектуре.

**конец года** — Марина Цветаева подает прошение о возвращении на родину.

**1938**

**лето** — Цветаева с сыном в Див-сюр-Мэр.

**сентябрь** — Переезд в отель «Иннова» на бульваре Пастер.

**1939**

Созданы «Стихи к Чехии».

**16 июня** — Отъезд из Франции.

**18 июня** — Возвращение в СССР.

Цветаева живет с семьей под Москвой в Болшеве.

**27 августа** — Арест Ариадны Эфрон.

**10 октября** — Арест С. Я. Эфрона.

**ноябрь** — Цветаева с сыном уезжают из Болшева в Москву.

**1941**

**август** — Отъезд в эвакуацию.

**18 августа** — Прибытие в Елабугу.

**31 августа** — Марина Цветаева покончила жизнь самоубийством.

Указатель имен[40]

Ав-в Н., автор заметки о выступлении сестер Цветаевых в Феодосии I, 171

Августа Ивановна, бонна в семье Цветаевых I, 8, 20, 25, 142

Аверченко Аркадий Тимофеевич II, 133, 150

Агабеков, невозвращенец II, 500

Агриппа Неттесгеймский I, 85, 198

Адалис (Ефрон Аделина Ефимовна) I, 407

Адам, феодосийский извозчик I, 177

Адамович Георгий Викторович I, 229, 231 *ф*; II, 170, 172, 174–175, 177, 266, 290, 306, 330, 343, 398, 459, 463, 464, 546–547

Адлер Александр Севастьянович II, 248

Азарьян, сотрудник НКВД III, 165

Айвазовский Иван Константинович I, 168

Айканов Митрофан Михайлович II, 529–533, 559

Айканова Антонина Георгиевна II, 529, 532–533

Айкановы, семья II, 529

Айналов, студент I, 19

Айхенвальд Юлий Исаевич I, 434; II, 150, 171, 172, 176

Алданов (Ландау) Марк Александрович II, 184, 281, 290, 310

Александр I Карагеоргиевич, король Югославии II, 393

Александр III I, 142, 143, 147

Алексеев Владимир Васильевич I, 325, 334, 335 *ф*, 378

Алексеев Михаил Васильевич I, 295

Алексеев Николай Николаевич II, 191 *ф*, 254, 506; III, 118

Алексеева Варвара Андреевна I, 143

Алексей (Алексий), человек Божий I, 250

Алексей Николаевич, цесаревич II, 297

Алехин Александр Александрович II, 298

Алеша — см. Минц А. М.

Амфитеатров Александр Валентинович I, 100; II, 133

Ананиашвили Элизбар III, 178

Андерсен Ганс Христиан III, 6

Андреев Вадим Леонидович II, 5, 308

Андреев Леонид Николаевич I, 61, 76, 212; II, 137, 364, 367

Андреева (в замуж. Рыжкова) Вера Леонидовна I, 337; II, 190–192, 191 *ф*, 369, 415

Андреева (урожд. Денисевич, в первом браке — Карницкая) Анна Ильинична I, 336, 337; II, 137, 190, 367–369, 370 *ф*, 371, 522; III, 54, 55, 148, 154, 336

Андреевы, семья II, 338, 368

Андроникова-Гальперн Саломея Николаевна I, 336; II, 118, 159, 161 *ф*, 162–163, 205–206, 299, 332, 358, 365, 370, 383, 556; III, 337

Андрюша — см. Трухачев А. Б.

Анненков Юрий Павлович I, 240 *ф*; II, 425

Анненский Иннокентий Федорович I, 430

Антокольский Павел Григорьевич I, 274, 281, 282 *ф*, 285, 324–325; II, 8, 264, 319, 486

Антон, дворник Цветаевых I, 14

Антонов, прокурор III, 113, 332

Арагон Луи II, 399

Арапов Петр Семенович II, 247, 272; III, 118, 127, 320

Ардов Виктор Ефимович III, 148, 183, 185

Аросев Александр Яковлевич III, 63

Артис Ян II, 477

Арцыбашев Михаил Петрович I, 61

Асеев Николай Николаевич I, 287; II, 200; III, 172, 178, 204, 213, 214, 238, 240–245, 242 *ф*, 249, 256–260, 274, 289, 290

Асеева (урожд. Синякова) Ксения Михайловна III, 240–244, 259, 260, 290

|  |
| --- |
| Чагин П. И. III, 202–203, 252  Чапек Карел II, 420  Чацкина Софья Исааковна I, 229  Челпанова Наталья Георгиевна II, 358  Чемберлен Невилл II, 542  Чернов Виктор Михайлович II, 8  Чернова (взамуж. Резникова) Наталья Викторовна II, 147  Чернова (в замуж. Сосинская) Ариадна Викторовна II, 105, 147, 151, 153  Чернова-Колбасина Ольга Елисеевна I, 336; II, 120, 130, 134, 140, 141 *ф*, 147, 151, 190, 319, 370, 522  Чернова Ольга Викторовна II, 147, 152  Черновы, семья II, 137, 138, 338  Черносвитова Евгения Александровна II, 208  Черный Саша (Гликберг Александр Михайлович) I, 100; II, 8, 15, 433  Черубина де Габриак — см. Дмитриева Е. И.  Чехов Михаил Александрович II, 298  Чириков Евгений Николаевич II, 8, 39, 133, 150  Чириковы, семья II, 39  Чистоганов Анатолий II, 501; III, 304  Членов С. Б. III, 21  Чуковская Лидия Корнеевна III, 243–244, 246–250, 253–255, 257, 268  Чуковский Корней Иванович (Корнейчук Николай Васильевич) I, 96, 240 *ф*; II, 14, 320–321  Шагинян Мариэтта Сергеевна I, 93  Шаляпин Федор Иванович II, 151, 281  Шапиро Леонид III, 80  Шарль, анархист I, 345  Шатилов Павел Николаевич II, 495  Шаховская (в замуж. — Малевская-Малевич) Зинаида Алексеевна, княгиня II, 271, 300, 301 *ф*, 398, 556; III, 338  Шварц Александр Николаевич I, 73  Шварц Евгений Львович II, 320  Швейцер Виктория Александровна I, 323; III, 126–127; III, 40  Шекспир Вильям II, 59, 484  Шенье Андре Мари (Андрей) I, 306–307, 408  Шестов Лев (Шварцман Лев Исаакович) I, 100, 185, 187, 192, 193, 201, 236, 381; II, 6, 145 *ф*, 153, 156, 180, 185, 189, 192, 293, 339  Шеффер Пауль I, 368  Шильдбах (урожд. Нейгебауэр) Гертруда II, 509; III, 302  Ширинская-Шихматова Евгения Ивановна (урожд. Зильберберг, в первом браке Сомова, во втором — Шихматова) II, 407  Шишкин Иван Васильевич III, 209  Шишкин Иван Иванович III, 209  Шкловский Виктор Борисович II, 8  Шкодина-Федерольф Ада Александровна III, 106  Шлегель Фридрих I, 84  Шлёцер Татьяна Федоровна — см. Скрябина Т. Ф.  Шмидт Петр Петрович II, 287  Шнейдер (урожд. Евтеева, в замужестве — Паустовская) Татьяна Алексеевна III, 246, 256–257  Шнейдер Михаил Яковлевич III, 257  Шнейдеры, семья III, 248, 253–257  Шолохов Михаил Александрович II, 324  Шостакович Дмитрий Дмитриевич II, 476  Шоу Джордж Бернард I, 100; II, 399  Шпенглер Освальд I, 368  Шпет Густав I, 410  Шпигельглас Сергей Михайлович II, 499, 509, 512–513, 513 *ф*; III, 24–25, 35, 142  Штейгер Анатолий Сергеевич II, 66, 398, 417, 443–465, 444 *ф*, 503, 522, 524, 547; III, 299, 338  Штейгер Сергей Эдуардович II, 443  Штейнер Рене (Рената) II, 490, 495–497, 496 *ф*, 499, 501, 502, 510, 513, 514; III, 301–304  Штейнер Рудольф I, 75, 84, 86, 101, 136, 214; II, 16, 132  Штранге Михаил Михайлович II, 502–503; III, 299  Штранге, семья III, 299  Шукст Б. И. III, 174  Шукст Ида — см. Игнатова И. Б.  Шульгин Василий Витальевич II, 468  Шумов П. И. II, 146, 173, 194  Шур-Гельфанд Марина Ивановна III, 197  Шухаев Василий Иванович II, 283; III, 151  Шухаевы, семья III, 12, 151  Шюзвиль Жан I, 135, 136; II, 330  Эйзенштейн Сергей Михайлович II, 303 *ф*, 324, 470  Эйнштейн Альберт II, 172  Эйснер Алексей Владимирович II, 118, 131, 308, 318, 319 *ф*, 384–385, 425, 470, 476–477, 510; III, 119 *ф*, 144, 156, 331  Эккерман Иоганн Петер II, 60  Экхарт Иоганн I, 84  Эллис (Кобылинский Лев Львович) I, 67, 68 *ф*, 69–83, 85–87, 102, 103, 132, 179; III, 333  Эренбург (урожд. Козинцева) Любовь Михайловна II, 48, 400 *ф*  Эренбург Илья Григорьевич I, 101, 102, 284, 397, 400, 411, 412, 424, 426, 427, 438, 443; II, 6, 7-11, 9 *ф*, 334, 335, 398, 400 *ф*, 421 *ф*, 555; III, 21, 172, 199–202, 199 *ф*, 270  Эренбурги, семья II, 8  Эррио Эдуард II, 396  д’Эспарбэс, маркиза I, 321  Эфрон Анна Яковлевна I, 115; III, 310  Эфрон Вера Яковлевна I, 116 *ф*, 117, 121 *ф*, 126, 133, 139, 145, 151, 160 *ф*, 202, 205, 214, 215, 262, 279, 316, 358, 359 *ф*; III, 12, 21, 310  Эфрон (урожд. Дурново) Елизавета Петровна I, 138; II, 248  Эфрон Елизавета Яковлевна (Лиля) I, 114, 116 *ф*, 117, 126, 127, 133, 136, 160 *ф*, 225, 253, 258, 260, 302, 347, 362, 363 *ф*, 364; II, 278, 311–313, 314, 316, 324, 330; III, 12, 16, 26, 43, 59–60, 60 *ф*, 95–96, 147, 171, 197, 310  Эфрон Ирина Сергеевна (Ирина) I, 228, 253, 261, 279, 302, 303 *ф*, 305 *ф*, 308, 343–344, 348, 349, 351, 354–356, 358, 359, 362–365, 412; II, 267, 487; III, 335  Эфрон Константин Михайлович III, 44  Эфрон Константин Яковлевич I, 138  Эфрон Петр Яковлевич III, 310  Эфрон Яков Константинович III, 309–310  Эфрон, сестры, I, 199, 349, 354  Эфроны, семья I, 110; III, 27, 29, 31, 43, 51, 58, 99, 152, 283, 315, 321, 339  Юркевич Владимир Иванович I, 49  Юркевич Петр Иванович (Понтик) I, 49–58, 51 *ф*, 268  Юркевич Сергей Иванович I, 49  Юркевич Софья Ивановна (в замуж. Липеровская) I, 48, 49; III, 178  Юркевичи, семья I, 49, 110  Яблоновский Александр Александрович II, 171, 176  Ягода Генрих Григорьевич II, 497; III, 20, 26, 159  Якобсон Роман II, 108  Яковлева Нина Герасимовна III, 178  Яновский Василий Васильевич III, 32, 34, 300  Яншин, военврач III, 126  Ясенский Бруно III, 138  Яшвили Паоло (Павле) Джибраелович III, 87  Послесловие  Со времени первого издания книги «Путь комет» прошло пять лет, и за это время обнаружилось достаточно много новых материалов, касающихся прямо и косвенно биографии Марины Цветаевой. В 2002 году Российский Государственный архив литературы и искусства открыл, наконец, доступ исследователям к архиву поэта. Так называемые «рабочие тетради» Цветаевой позволили не только выверить тексты ее произведений, но и познакомиться с записями дневникового характера, которыми она перемежала эти тексты. На основе материалов архива теперь выпущен целый ряд ценнейших изданий. Вышли тома переписки Цветаевой с Б. Л. Пастернаком, с Н. П. Гронским и В. В. Рудневым, где опубликовано много неизвестных ранее писем. В 2004 году Архив издал также два тома дневников сына Цветаевой Г. С. Эфрона. Еще в конце 2002 года на книжных прилавках появились «Письма Цветаевой к Наталье Гайдукевич», чрезвычайно насыщенные информацией, в 2004-м — книга «Доброволец двух русских армий» В. Дядичева и В. Лобыцына, осветившая ряд важных моментов биографии мужа Цветаевой С. Я. Эфрона. Все это в совокупности обусловило потребность дополнить текст книги «Путь комет», попутно отредактировав в ней некоторые важные аспекты.  Подытоживая свою многолетнюю работу над биографией поэта, хочу обратить внимание читателя на одно существенное обстоятельство. Изучение русской литературы XX века, и особенно писательских биографий, имеет свою специфику. Дело в том, что политическая обстановка в советской России резко сократила информационное поле исследователя. Частная переписка утратила свою свободу; личные дневники, столь распространенные в дореволюционной России, стали редкостью, — их почти задушила (и во всяком случае оскопила) вынужденная самоцензура авторов. К счастью, Цветаева почти 18 лет жила вдали от родины и сохранила ценнейший (хотя и далеко не полный) массив своего архива. Но в воспоминаниях о поэте, которые мне пришлось прочесть и услышать, обнаружилось такое количество разночтений, противоречий, а то и прямых домыслов, что очень скоро стала ясна необходимость проверять и перепроверять эти воспоминания, дабы вычленить реальность, освобожденную от личных пристрастий и особенностей вспоминающего. Такая проблема, впрочем, существовала испокон веков. Она усугубилась, однако, тем, что в 70-е годы прошлого века, когда я начала свой обход тех, кто встречался с Цветаевой и помнил ее, были живы уже немногие из действительно близких поэту людей. К счастью, «перестройка» открыла двери за рубеж — для поездок и свободной переписки, и мне удалось существенно расширить круг моих собеседников. |

57

|  |
| --- |
| Архивы — главный источник исследователя, занимающегося литературой XVIII и XIX веков, — оказались совершенно недостаточными для воссоздания реалий, касающихся художника прошлого столетия. Обойтись без них тем не менее невозможно. Материалы, связанные с биографией и творчеством Цветаевой, сосредоточены, главным образом, в Российском Государственном архиве литературы и искусства (Москва, фонды 1190, 2962, 2080 и др.); в Рукописном отделе Института русской литературы АН (Петербург, фонд М. В. Волошина), в Архиве университета Париж-X (Пантер) (фонд К. Б. Родзевича); в Литературном архиве национальной письменности (Прага, фонды А. А. Бема, В. Е. Ляцкого и др.); наконец, в Центральном архиве НКВД-КГБ (Москва, следственные дела С. Я. Эфрона, А. С. Эфрон, Н. Д. Клепинина, Э. Л. Литауэр, П. Н. Толстого).  С чувством глубокой благодарности перечислю здесь имена тех, с кем мне довелось беседовать (или переписываться), собирая материалы о Марине Цветаевой.  **В России:** А. И. Цветаева, А. С. Эфрон, К. М. Эфрон, Ю. В. Цветаев, А. Я. Трупчинская, З. М. Ширкевич, С. Н. Клепинина, Д. В. Сеземан, А. В. Сеземан, И. В. Горошевская, Н. В. Афанасова; а также — Э. Г. Ананиашвили, В. Л. Андреев, П. Г. Антокольский, Г. А. Арбузова, К. М. Асеева, Н. К. Бальмонт, М. И. Белкина, Л. Ю. Брик, Л. М. Бродская, A. К. Гладков, В. А. Гучкова-Сувчинская-Трейл, Н. Д. Журавлева, Вяч. Вс. Иванов, Т. Н. Кванина, К. Н. Кист-Рейтлингер, Г. Н. Козловская, А. А. Кутепов, В. В. Левик, С. И. Липкин, Л. Б. Либединская, С. И. Липеровская, Э. Л. Миндлин, И. В. Одоевцева, Е. Б. Пастернак, М. С. Петровых, Н. А. Раевский, Р. Я. Райт, Н. А. Северцова, Т. В. Сланская, B. В. Сосинский, А. В. Сосинская, А. М. Тверитинова, А. И. Сизов, Л. И. Толстая, Е. Е. и Е. Б. Тагер, Е. А. Таратута, Л. К. Чуковская, Н. Н. Харджиев, Зоя Цветкова, В. Е. Чирикова, А. В. Эйснер, И. И. Эренбург.  **Во Франции:** М. М. Айканов, Н. Л. Шестова-Баранова, А. А. Гучков, Д. Десанта, А. Доминик, М. Л. Карсавина-Сувчинская, А. Л. Литауэр, Н. Б. Сологуб, З. Н. Шаховская.  **В Великобритании:** проф. Дж. Смит (Оксфорд), К. Стидварти (Кембридж)  **В США:** С. А. Карлинский  **В Израиле:** Инна Рубина  **Через переписку:** С. Н. Андроникова-Гальперн, М. С. Булгакова-Сцепуржинская, А. С. Головина, Ю. П. Иваск, Е. И. Еленева, Т. М. Сухотина-Толстая, П. П. Сувчинский, А. А. Реформатский, К. Б. Родзевич, М. П. Ромэн Роллан.  **Только по телефону:** Кирилл Хенкин (Германия), сын Вадима Кондратьева (США). |

58